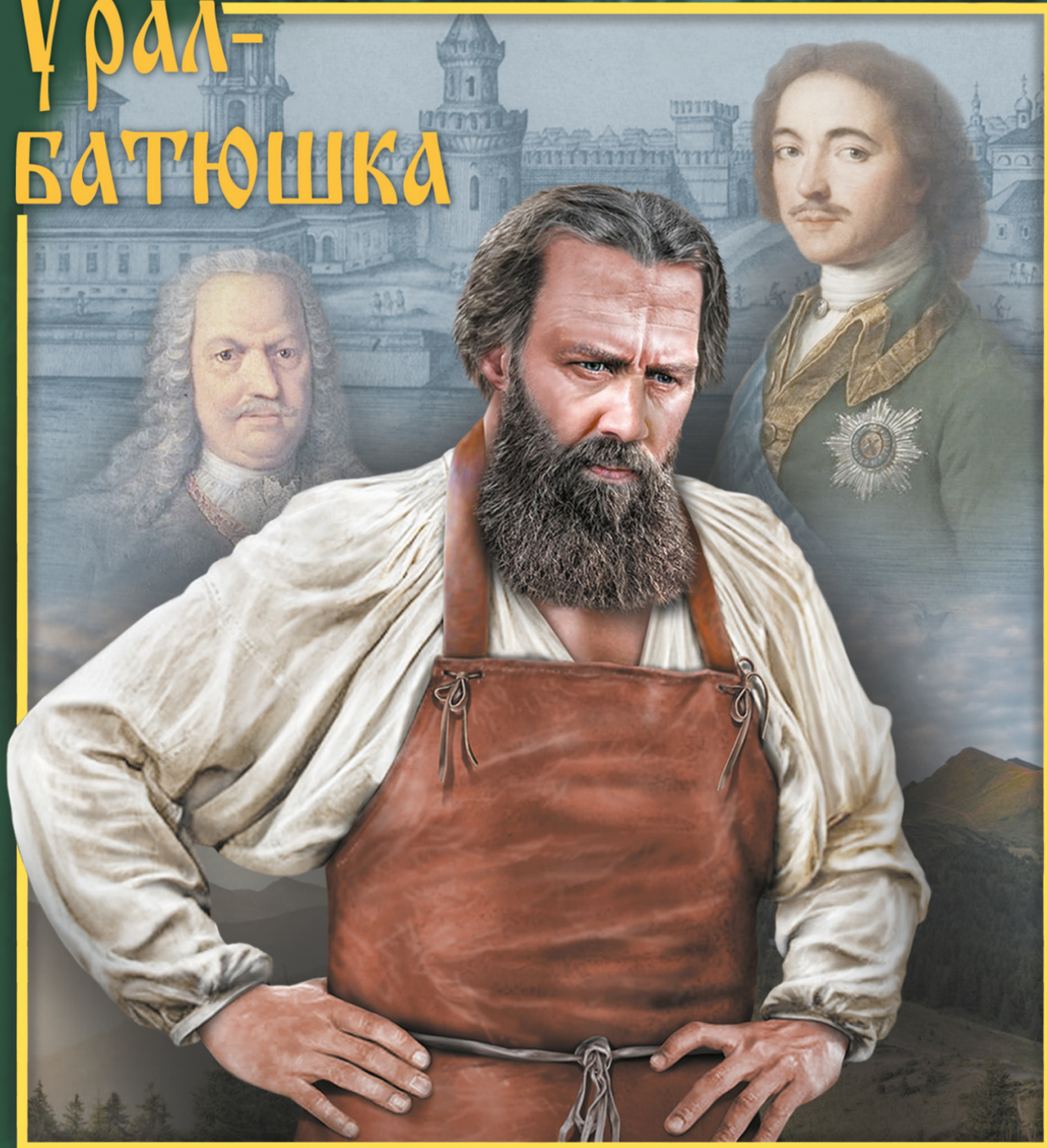


ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Урал- БАТЮШКА



Каменный пояс

Демидовы

Урал-батюшка

Евгений Федоров

**Каменный Пояс.
Книга 1. Демидовы**

«ВЕЧЕ»

1951

Федоров Е. А.

Каменный Пояс. Книга 1. Демидовы / Е. А. Федоров — «ВЕЧЕ»,
1951 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-7578-8

«Каменный Пояс» — эпическое полотно, охватывающее период русской действительности от конца XVII века до 70-х годов XIX века. И хотя стержнем повествования служит история рода уральских горнозаводчиков Демидовых — от сметливого кузнеца Никиты, зачинателя «дела», до немощного, развращенного роскошью Анатолия, князя Сан-Донато, завершившего родословную, — главным героем трилогии является талантливый, трудолюбивый русский народ, терпеливый и мятежный. Автор создал целую галерею запоминающихся образов мастеровых людей, зримо предстают и Демидовы, жестокие, властолюбивые, гордые своей силой и властью над человеком. Роман «Демидовы» — первая книга трилогии. Зарождение русской промышленности на Урале. Талантливый тульский оружейник Никита Демидов благодаря покровительству Петра I начинает строительство горных заводов. Скупая за бесценок обширные земли, нещадно эксплуатируя крестьян, Демидов и его сыновья становятся хозяевами Каменного Пояса — Урала.

ISBN 978-5-4484-7578-8

© Федоров Е. А., 1951

© ВЕЧЕ, 1951

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	14
Глава третья	24
Глава четвертая	33
Глава пятая	40
Глава шестая	44
Глава седьмая	53
Глава восьмая	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Евгений Федоров
Каменный пояс
Книга 1
Демидовы

© Федоров Е.А., наследники, 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Часть первая

Глава первая

1

Время было беспокойное: готовились к войне с Туретчиной, бунтовали раскольники, уходили помещицы тяглецы от невыносимого крепостного гнета, бежали люди от страшной рекрутчины, от воеводских притеснений и от поборов крапивного семени – приказных ярыжек. Беглые сбивались в шатучие ватажки; на путях-дорогах от них было тревожно и опасно.

Толмач Посольского приказа Шафиров торопился по неотложному государеву делу в Тулу. Зима стояла морозная, вьюжистая. Под крытым возком тягуче поскрипывали полозья, сильно укачивало – сон слипал очи. Шафиров подремывал.

Сбоку возка, над голубыми снегами, катился месяц. Мимо бежали запорошенные снегом боры, ельники да придорожные кусты.

Под самой Тулой, когда приветливо замигали долгожданные огоньки, бородатый ямщик накрутил на руки вожжи, взвизгнул, загоготал и бесшабашно погнал коней под угорье. Возок с разбегу нырнул в ухаб, подпрыгнул, Шафирова подбросило; он вздрогнул и открыл глаза.

Впереди чернели оголенные кусты; на дороге стоял великан, растопырил ручищи и поджидал возок.

«Разбойник! – ожгла догадка Шафирова. – То-то разбойный посвист, то-то гогот!»

Храбрый и ловкий царский сподручный ездил всегда без охраны. Схватил он спросонья знатный дорожный пистолет – и по разбойнику.

А пистолет-то и не стрельнул, испортился.

«Эко, дьяволище, чем же теперь обороняться?» – струхнул Шафиров, и на лбу его выступил холодный пот.

– Э-ге-ге! Гей! – не примечая шафировского страха, заорал ямщик, кони взметнули и стрелой пронесли мимо дуплистого дерева, тянувшего над дорогой толстые узловатые сучья.

– Ух ты, – с шумом выдохнул Шафиров. – А я-то думал...

Толмач отвалился к спинке саней и облегченно закричал ямщику:

– Шибчей гони!

Огоньки Тулы замелькали чаще и приветливей, запахло дымком. На заставе сторожевые люди окрикнули:

– Стой, кто едет?

– Пади! – заорал ямщик и промчал мимо будочников; под тройкой закружилась снежная пыль.

На ночлеге Шафиров закручинился: добрый дорожный пистолет попортился, не работал. Пистолет тот был работы немецкого мастера Кухенрейтера: бил безотказно и метко.

В горнице, в которой расположился на ночлег вельможа, стояли жарынь и тишина; за печкой, шурша, ползали усатые тараканы, на столе в шандалах потрескивали сальные свечи. Подле них склонился тульский воевода в кургузом мундирчике и в буклях, посыпанных мукой, и рассматривал пистолет.

– Дивной работы, – удивлялся он, – а только извольте не кручиниться, враз горе изживем. В Кузнецкой слободке есть у нас кузнец Никита Антуфьев, так кузнец тот не токмо пистоль может исправить, а самого черта подкует!

Шафиров питал страсть к хорошим ружьям и пистолетам и, как слышал про тульского кузнеца, обрадовался:

– Гони, воевода, холопьев до кузнечишки да накажи, ежели пистолет мой счинит – сто рублей жалую. Ежели испортит – будет бит плетями.

Перед Шафировым стоял полуштоф, на глиняном блюде – моченые рыжики. Сам Шафиров крепок, скуласт, низенький, но проворный, с влажными улыбающимися глазами, готовыми понять все на лету. В свое время он попался на глаза царю, и за башковитость и расторопность Петр Алексеевич быстро возвеличил его. Если что надумал Шафиров – вынь да положь! Скор он был на дела и на руку. В ожидании тульского мастера гость принялся за ужин.

Тем временем за полночь разбудили кузнеца Никиту Антуфьева передать ему наказ царского посланца. Кузнец еле очухался от сна, поднялся всклокоченный, злой:

– Пошто разбудили?

Ему в руки – пистолет работы мастера Кухенрейтера:

– Можешь починить?

Кузнец глянул на пистолет, разом соскочил сон; оружейник, положив на ладонь пистолет, залюбовался:

– Важнецкая работа, да-к... Непременно сделаю! Отчего же?

А сам глаз от пистолета оторвать не может: тонкая, диковинная работа приковала взор сметливого тульского кузнеца.

2

Спустя три дня в воеводскую избу явился кузнец Никита Антуфьев и настоял, чтобы его допустили к самому царскому посланцу. У Шафирова в ту пору шли важные государственные дела. По воеводским привольным горницам толкался народ. Потребовал к себе Шафиров знатных тульских служилых людей, купцов, подрядчиков, военных – ко всякому он имел неотложные поручения – и распекал нерадивых. Требовал срочного литья, от купцов – пеньки, добротного тесу. Затебал царский сподручный большие дела.

Со страхом доложили Шафирову:

– Пистолет кузнечишка припер, да со своих рук не спускает, самому передать намерение имеет.

Шафиров – дела в сторону:

– Веди!

Народ засуетился. Кузнеца Никиту Антуфьева ввели в горницу. Шафиров поднялся с кресла, невтерпех: «Что стало с пистолетом столь знатной работы?»

Народ в стороны раздался. Стоит кузнец Никита Антуфьев один посреди горницы – высокий, голова под потолок, статный, плечистый, бородаща – черной волной. На ладони – пистолет.

Шафиров подошел к рослому кузнецу, хлопнул его простецки по плечу:

– Сделал?

– Спытайте! – Кузнец протянул Шафирову пистолет.

Вельможа с жадным огоньком в глазах дорвался до пистолета. Военные, бородатые купчишки да приказные кругом сгрудились. И самим как-то лестно стало:

– Ай да тульский кузнец, такой пистолет наладил!

Шафиров повертел, покрутил в руках пистолет, крякнул от удовольствия:

– Гоже!

Тут он неожиданно хмуро сдвинул черные брови и строго посмотрел на кузнеца:

– И мой и не мой пистолет. На моем метка, а на этом – нет!

Кузнец улыбнулся, на закопченном лице блеснули крепкие зубы:

– Верно, боярин, пистолет этот не твой, а моей собственной работы!

Шафиров поднял на кузнеца изумленные глаза:

– Не может того быть!

Кузнец с хитринкой усмехнулся в цыганистую бороду.

– У твоего пистолета, боярин, попортилась затравка, постарался исправить. А чтобы не скучно было, не угодно ли тебе, боярин, взять два пистолета вместо одного.

Вынул кузнец из-под полы другой пистолет столь же отличной работы и совершенно под стать первому. Шафиров глянул на пистолет, глаза загорелись:

– Близнецы!

Стали испытывать и сверять пистолеты: стреляли, вертели в руках, приглядывались до боли в глазах и никакой разницы между пистолетами не нашли.

– Ой, как гоже!

– Ай да кузнец!

– Вот те ружейник! Не токмо солдатские фузеи¹ готовить может, но, статья, и пистолеты на немецкий лад.

– Сколь превосходные вещи! – развеселился вдруг Шафиров.

– А ты, сударь, получше взглядишь в другой пистолет! – Кузнец поднял черные как уголья глаза на Шафирова, взял пистолеты из рук вельможи и показал секретную меточку. По ней-то Шафиров и признал, что один из пистолетов действительно подлинной работы Кухенрейтера, а другой сделан самим тульским кузнецом.

– Молодчага! – хлопнул кузнеца по плечу Шафиров. – Эй, чару!

Кузнец степенно поклонился, глаза посуровели:

– Благодарствую на том, не в обиду вам: хмельного в рот не беру.

– Гоже! – засиял вельможа, подошел к столу и выложил, как один, сто серебряных рублей. – Жалую за сметку.

Кузнец чинно, неторопливо собрал со стола деньги и уложил в карман.

Шел ружейник домой и ног не чувал под собой. Шутка ли – сто рублей! Вон куда метнуло!

В эти минуты вспомнилось кузнецу бывшее, как он с батей пришел по горести из родной деревеньки Павшино в Тулу, в Кузнецкую слободу, и стали они искать свое счастье. Батя, Демид Григорьевич Антуфьев, отличался отменным здоровьем, был крепок, в небольшом возрасте, всего под сорок годков, и с ранней юности занимался кузнечным мастерством. С давних-предавних времен Тула и весь обширный край славились рудами, окрестные крестьяне добывали их и плавили железо. Уже в XVI веке домашний способ производства железа из глыбовой руды² был широко распространен в этой местности. Ручные горны можно было встретить во многих домах крестьян и в Дедиловском районе и под самой Тулой, в деревне Павшино, в которой проживали Антуфьевы. Выплавляли крестьяне железо в примитивных печах-домницах и сбывали его тульским вольным кузнецам, которые выделявали из него пищали, самопалы, копья, сабли, плужники, ножи да топоры. Кустарным оружейным промыслом занимались из поколения в поколение и Антуфьевы. Когда подрос сын Никита и обучился у дядьки грамоте, он стал подбивать батю перебраться в Тулу, в Кузнецкую слободу. Славились она старинными мастерами-самопальщиками, которые по тем временам достигли немалого искусства в изготовлении холодного и огнестрельного оружия. Умело и тонко они украшали его богатой резьбой, разнообразной чеканкой, именуемой тульской чернью. Влекло Антуфьева и то, что кузнецы этой слободы, внесенные в казенные списки – «казюки», освобождались от податей и земских повинностей. Произошло это лет сто тому назад, когда по челобитью тульских кузнецов царь Федор Иванович велел «их, кузнецов, устроить в Туле за острогом особою слободою,

¹ Фузея – мушкет, ружье.

² Глыбовая руда – бурый железняк.

а никаким людям, опричь их, кузнецов, не жить, и к посаду ни в какие подати и в никакие земские службы от них, кузнецов, выбирать не велено».

Однако, несмотря на царский указ, наряду с «казюками» в слободе оставалось немало кузнецов и среди посадского люда. Постепенно и их привлекали к самопальной работе: некоторые из них были «взяты по ремеслу из посаду в самопальные мастера». Так постепенно, из года в год, из десятилетия в десятилетие, складывалось тульское оружейное сословие, куда и стремились попасть Антуфьевы.

В ту пору, когда устроились Антуфьевы в Кузнецкой слободе, тульские самопальщики были подчинены Московской оружейной палате. Ежегодно по государеву наказу они доставляли в Москву две тысячи пищалей по цене двадцать два алтына и две деньги³ за пищаль.

Вся работа самопальщиками выполнялась по домам, и каждый знал только свое дело: одни делали ложа, другие занимались заваркой стволов, третьи мастерили замки и другие оружейные части. Самая трудная и главная работа была заварка ствола. Антуфьевы знали это дело хорошо. Нагретую длинную железную пластину батя ударами молота сгибал в трубку, а шов мастерски сваривал – вот и готово дуло! Никита приваривал к нему казенную часть ствола, а дальше шла отделка: канал сверлили ручными сверлами, поверхность отделявали напильниками и на точиле. К той поре на других дворах кузнецы ковали штык и части замковые, слесари-отдельщики отрабатывали их до блеска. А мастера-ложники по своим дворам делали ложа и производили сборку оружия. Никита был столь любознателен, что в скором времени сам научился все делать. Был он лих и горяч в работе. Суровые денечки выпали ему в Кузнецкой слободе, но могучий характер да золотые руки выручили кузнеца Антуфьева. Работа у тульских самопальщиков напряженная, все жилушки выматывала. То с молотом, то у горна, где жар да брызги раскаленных искр. От такой работы к вечеру пошатывало, как хмельного. Батя Демид Григорьевич не выдержал каторжной работы, вскоре занедужил и помер. Остался один Никита в Туле, он не сдался, крепко вгрызся в работу. Отличался он от других своих товарищей искусством да яростью в деле. Свирепо хотел выбиться в люди.

Хотя царские власти и не делали никакого различия между казенными и вольными кузнецами, однако считал Никита Антуфьев, что кузнец от кузнеца рознился. Среди них выделялись «пожиточные люди». Сами они оружейной работой не занимались, а поставляли оружие в казну, скупая его у своей братии, оскудевших кузнецов. Эти «скудные оружейники» и занимались выделкой оружия, а пожиточные завели многие лавки и торговые промыслы.

Хорошо оглядевшись и скопив небольшие деньги, Никита понемногу сам стал скупать оружейные части, а то сдавать работенку и наживаться потихоньку на труде других. Скупая у скудных самопальщиков стволы, замки, ложа, он быстро и как-то незаметно, без шума пошел в гору и вскоре обрел силу в Кузнецкой слободе. Прошло еще несколько лет, и его избрали слободским старостой.

Обретя влияние и силу в Кузнецкой слободе, Никита Антуфьев все же не отошел от мастерства, которому был предан всей душой. К этому времени он женился на статной и красивой слобожанке, принесшей ему приданое. Пошли дети, а среди них крепкий и сметливый Акинфка-сын, перенявший от отца оружейное искусство...

Было Никите сорок годков, когда он попал на глаза царскому посланцу Шафирову. Хотя он стал заметно лысеть, но силы был могучей, нравом веселый и цепкий в работе. В этот памятный день возвращался он весьма довольный встречей: в карманах побрякивали рубли.

«Вот они, сто целковиков! С них куда больше дело разгорится! Дороги деньги, да еще дороже честь!» – с гордостью думал кузнец...

³ 67 копеек.

Спустя несколько дней Шафиров возвращался по старой дороге из Тулы в Москву. Трещали январские морозы, блестели парчой снега, крутили-голосили метели. Запахнувшись в волчью шубу, Шафиров прощупывал упрятанные под ней два пистолета. От поскрипывания полозьев, от санного укачивания обуревал сон, но сквозь дрему Шафиров думал:

«Гляди-кось, наш тульский кузнец не хуже немчуры Кухенрейтера ладит пистоли! Поди, лучше, проворней. Ось-ка я мин герру Петру Алексеевичу о нем доложу».

3

Царь Петр Алексеевич в своем стремлении к морю на деле увидел, сколь бедна Россия фабриками и заводами. А между тем в стране все было для умножения производств. Кругом таились неисчерпаемые сокровища: горы, богатые рудами, дремучие леса, изобилующие драгоценным пушным зверем, многоводные рыбные озера и реки, неоглядные плодородные равнины. Но богатства эти из-за нерадивости бояр лежали втуне, равнины простирались незаселенными, плохо возделанными, городишки были редкие, деревянные, села разорены алчностью бояр. Уныние скребло душу Петра от этой неприглядной картины, еще горше ему стало, когда он столкнулся с положением горного дела. Нужны были пушки, ядра, фузеи, гвозди, и во всем этом была зависимость от иноземцев. Металлы, прежде всего железо, привозились из-за границы. Железо славилось свейское⁴, провоз был труден, цены непомерные. Царю было очевидно, что в будущей войне со Швецией туго будет с железом. Хочешь не хочешь, а думай о своем металле. Россия – страна обширная, много в ней гор и рудных земель: и под Липецком, и под Тулой, и в Олонецком крае, и под Устюжной, и на востоке – Каменный Пояс, а в недрах их неисчерпаемые богатства. Ко всему этому русские люди были известны как рудознаты, умеющие найти руды и плавить их. Многовековой опыт накопился в русском народе. В давние-предавние времена седой старины славяне с железными топорами, косами и сохами пробирались по лесам, занимали девственные земли, выжигая и выкорчевывая чащобы на участках под пашню, строили «починки» и деревни. Русские издавна выплавляли железо в сыродутных горнах с ручными мехами, получалось губчатое железо, и оно легко отделялось от посторонней примеси ручной проковкой железными молотами. Старинные умельцы строили и небольшие шахтные печи, которые получили название домниц. Одним из древнейших мест, где знали добычу и плавку железа, была Устюжна. Этот старинный русский город лежал на устье Ижины, впадающей в Мологу. С незапамятных времен жители Устюжины были кузнецами, плавил железо из руды. А руду эту добывали на восток от города в урочище, которое звалось «Железным Полем», поэтому и сама Устюжна получила прозвище «Железнопольской». Известно из летописей, что новгородцы издавна добывали железо в своей земле. По древним актам ведомо, что в очень давние времена в Печорском крае крестьяне сами делали медную посуду, а медь для этого выплавляли из местной руды. Эту посуду они доставляли в Архангельск для продажи иноземцам. Еще в первой половине XIII века князь Даниил Галицкий имел «кузнецов меди». Они добывали медь и отливали медные колокола. Великий князь Иван III вызвал из Венеции известного мастера Аристотеля Фиораванти, который и начал в Москве в 1479 году литье пушек. По изготовлению оружия древняя Русь шла уже в XVI веке впереди Запада. В старинных мастерских русские изготавливали орудие, заряжавшееся с казенной части, и много было умного по идее, совершенного по исполнению. В этом же веке русские литейщики начинают вытеснять иноземных мастеров. Всему миру известны были искусные русские мастера: Андрей Чохов, Булгак Наугородов, Семен Дубинин и многие другие.

Все было в стране, чтобы развить горнозаводское дело. Царь Петр Алексеевич всерьез помышлял о горном деле. Он выписывал из-за границы знатоков, но все это было не то. Ему

⁴ Свейское – шведское.

хотелось широко и по-хозяйски поставить горное дело. Не десятки и сотни пудов железа нужны были для затейного им большого дела, а десятки и сотни тысяч. Притом рудознатные мастера из иноземцев хотя и знающие, но люди чужие и пришлые. Дело ж требовалось ставить по-иному: для разработки рудных богатств нужны были свои, сметливые, дерзкие и предприимчивые люди.

В 1696 году через Тулу в Воронеж проезжал царь Петр. Наслышавшись от Шафирова о тульских ружейных мастерах, он остановился на несколько дней в Туле. С собой Петр привез алебарду иноземного образца и пожелал заказать в Туле такие же алебарды.

Пригласили к царю тульского кузнеца Никиту Антуфьева. Царь увидел самопальщика и пленился высоким ростом, силой и статностью богатыря.

– Глядите, – показал он окружающим боярам и купцам на кузнеца. – Вот молодец, годится в Преображенский полк!

Кузнец хмуро опустил голову.

– Ты что, оружейник, солдатчины испугался? – спросил царь.

– Никак нет, государь! Ремесло самопальное жаль оставить. Больно по сердцу мастерство, – ответил Никита.

– Коли так, кузнец, сделай триста алебард по сему образцу. Видать, солдатом тебе не быть, другая стезя выпала!

Кузнец внимательно осмотрел иноземную алебарду, поднял на царя жгучие глаза.

– Ну как? – спросил царь. – Сможешь смастерить такие?

– Наши русские алебарды получше, государь, будут!

Петр засиял, сгреб кузнеца за плечи. Силы в нем – горы воротить, ростом вровень с кузнецом, засмеялся весело ему в лицо:

– Ладно! Только смотри, как бы не вышла пустая хвальбишка. За похвальбу самолично отхожу тебя. От меня, кузнец, никуда не укроешься, – со дна морского сыщу. Слышишь?

– Слышу, – поклонился кузнец. – Разреши идти и за дело браться?

Такая быстрота государю пришлась по душе.

4

Кузнец сдержал свое слово, работу исполнил вдвое скорее, чем назначил царь, и алебарды доставил в Воронеж.

Петр Алексеевич самолично осмотрел и проверил доставленные алебарды, остался весьма доволен их добротной отделкой, отпустил кузнецу Антуфьеву из государственной казны втрое против того, во что они обошлись. Сверх того пожаловал тульскому кузнецу важнецкий отрез сукна на платье и серебряный ковш да посулил на обратном пути в Москву заехать к нему в гости и испить из того ковша.

И царь сдержал свое слово. Проездом через Тулу он завернул в Кузнецкую слободу и среди бревенчатых строений отыскал кузницу Никиты.

...Двери кузницы были раскрыты настежь, косые лучи солнца падали на утопанную землю. В полутемной кузне пылали горны; кузнецы и молотобойцы, полуголые, в стоптанных лаптях, с засученными рукавами, проворно хлопотали у наковален. Шипели и охали мехи, звенели наковальни, из-под молотов дождем сыпались искры. Царь с любопытством разглядывал горячую работу. Кузнец Никита, в кожаном фартуке, держал раскаленное железо, а сын – плечистый, круглолицый Акинка – бил молотом. Никита ухом не повел, завидя царя в кузнице, dokonчил дело, сунул скованное в бадью с водой, – в ней зашипело, взвился пар.

– Здорово, – сказал Петр.

– Здорово, Ваше Величество, – степенно поклонился Никита.

Царь был долговяз, большие темные глаза слегка навывкате. От него пахло крепким табаком, водкой и едким потом. На нем был поношенный темно-зеленый с медными пуговицами Преображенский мундир.

– Дай-кошь, – потянулся Петр к наковальне. – Дай-кошь, кузнец, испробую.

Никита повел жесткой бровью, сын Акинка проворно кинулся к нему, от отца – к наковальне. Гость повернулся к кузнецу:

– Показывай образец!

Никита вынул из бадейки закаленный багинет⁵.

– Вот, Ваше Величество.

Царь взгляделся в образец и схватился за молот:

– Держи!

Посыпались искры; Петр ковал крепко и будто ладно, а когда показал Никите скованное, кузнец поморщился, сплюнул:

– Негоже, государь. Подмастерка не дам за такую работу.

Царь сбросил мундир, засучил рукава, обрядился в кожаный передник и рявкнул:

– Давай еще!

Акинка со страхом поглядывал на царя. Огромный, плечистый, усы взъерошились, лицо заблестело от пота, перемазано в саже; освещенный красным заревом горна, Петр щурил выпуклые глаза и приговаривал:

– А-га-га... Ладно! – И ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались огненным дождем да наковальня дрожала и гудела, готовая, казалось, рассыпаться под молотом.

Акинка сиял от восторга:

– Вот так царь! Даром не ест хлеб. Получше другого кого бьет молотом.

До полудня знатный гость проработал в кузнице Антуфьева. Царю по душе пришлось, что подмастерья и работные люди не толпились, не любопытствовали зря. Работа и при нем кипела своим чередом. Строгий взгляд Никиты никому не давал передышки: люди работали умело и споро.

В полдень Петр тут же умылся над бадейкой, надел Преображенский мундир:

– Ну, кузнец, веди к столу.

Подергивая судорожно плечом, царь вышел из кузни и пошел вдоль улицы. Шел он солдатским шагом, помахивая на ходу правой рукой; шаги его были так быстры и широки, что кузнецы еле поспевали за ним.

В доме Никиты Антуфьева было чисто, опрятно; обстановка горницы под стать хозяину: проста и сурова. Дубовый стол, накрытый льняной скатертью; в углу иконы, перед ними – огоньки лампад, вдоль стен – дубовые скамьи, на полу – домотканые половики. На столе – немудрая еда: щи с бараниной, пирог с говядиной. Кузнец подошел к горке, вытащил дареный царем серебряный ковш и налил виноградного вина.

За цветной занавеской зашептались женщины. Петр покосился на занавеску и приложился к ковшу. В ту же минуту он поморщился, фыркнул и отставил ковш. На его лбу собрались морщинки; он повел бровью:

– Ну и дрянь! Не к лицу русскому кузнецу держать такое вино!

– Государь! – испуганно сказал Никита. – Ни в жизнь я не брал в рот хмельного. В металлах толк разумею, а в хмельном, что курица! И припас французское только для такой радости!

По правой щеке царя прошла легкая судорога:

– Отнеси ты, кузнец, это добро назад, а мне подай-ка лучше нашего русского простяка!

Никита живо поднес русской водки, гость выпил, крикнул; остался доволен.

⁵ Багинет – штык.

– Где хозяйка? – спросил Петр. – Куда женку упрятал? Зови к столу.

Охота не охота, а пришлось кузнецу звать женку к столу. Вошла молодайка, румяная, круглая, с густой бровью, статная. Царь весело поглядел на бабу и пожелал:

– Хочу, хозяйка, из твоих рук меду испить.

Баба зарумянилась, поклонилась.

Выкушал гость из рук жены Никиты ковш меду, опять крякнул, обнял хозяйку и сочно поцеловал. У вспыхнувшей стыдливым румянцем женщины от царского поцелуя закружилась голова, пол заходил под ногами: «Эк как! Царь, а покрепче кузнеца целует!»

Отобедав, Петр уселся в свой возок и повелел Никите вместе с ним ехать в воеводскую избу. Там он показал иноземное хорошо сработанное ружье и спросил:

– Что, Демидыч, можешь ли ты такое сделать?

Никита взял в руки немецкое ружье, пытливым, с пристрастием осмотрел его; по губам скользнула улыбка.

– Ружьишко справное, Ваше Величество, – повел черными глазами Никита. – Однако наши тульские кузнецы не уступят немцам. И сделаю я тебе, государь, получше этого – с меньшей отдачей!

В голосе кузнеца звучала уверенность. Царь взглянул на туляка и улыбнулся:

– Руки у тебя, Демидыч, золотые. Смотри, не осрамись! Поджидаю тебя в Москву в гости с теми ружьями.

– Будет по-твоему, государь, – твердо сказал кузнец.

Оба засмеялись, довольные друг другом.

Глава вторая

1

Тульский кузнец Никита Антуфьев крепко помнил царский наказ. А тут еще в Тулу дошли слухи о предстоящей войне со шведами; на заводы наехали дьяки и подьячие Пушкарского приказа, торопили с литьем. От них-то дознался Никита, что царь достает солдатские ружья с великой нуждой, платя иноземцам за каждое по двенадцати, а то и по пятнадцати рублей.

Никита заторопился. Из последних сил выбивались ружейники, от натуги в грудях хрипело; родной сын хозяина, Акинка, с лица спал от каторжной работы, однако не сдавал. Мать, жалея сына, отговаривала:

– А ты не дюжай. Неровен час, сломишься. Полегче!

Акинка только плечом повел:

– Ничо, сдюжаю. Шутка ли, ружья самому царю свезем. Небось приветит.

Скуластому большеглазому Акинфке сильно по душе пришелся царь. Нравилось молодому кузнецу, что Петр Алексеевич был прост, добрый работяга, на слова и на руку крепок. Таил про себя Акинка большую мечту: ежели такому царю по душе рассказать, что он, Акинка, в мыслях держит, то, поди, разом по-иному повернется жизнь!

Молодой кузнец пошел в отца: крепкий, смекалистый. Тульские купчишки и знатные кузнецы, имевшие на выданье дочерей, невзначай забрасывали словечко Никите:

– Молодчага у тебя сынок, Никитушка. Такому бычку да на веревочке быть... Любая девка обрадуется...

Кузнец сурово сдвигал черные косматые брови; по его большому лбу рябью ходили легкие морщинки:

– Сам знаю. Рано жениться ему! Работать надо, мастерству учиться! Во как!

В Туле в брусяных хоромах купца Громова, обнесенных дубовым тыном, двадцатую неделю проживал дьяк Пушкарского приказа Утенков. Наехал он на ружейные заводы торопить с заказами и поставками. Дабы не скучать, навез с собой дьяк челядь, мясистую женку и дочку – румяную да смешливую девку с глазами, что чернослив. Ее-то на богомолье заметил Акинка и сразу решил:

«Стащу у дьяка дочку!»

Боязно было говорить с батей, грозный больно. В горнице притихали все, когда входил батя. Одного только Акинфу и жаловал кузнец.

– Ну, что сопишь, аль опять неполадка в кузне? – как-то наморщил лоб Никита.

Акинка собрался с духом, поднял на батю серые глаза:

– Жениться хочу!

– Ишь ты! – улыбнулся Никита и запустил пятерню в смоляную бороду.

Сын потупил глаза в землю.

– Да-к, – крикнул кузнец. – Кого же приметил?

– Дьяка Утенкова дочку.

Кузнец хватился за бока:

– Ха-ха-ха... Мать, а мать, сын-то на дьякову дочь зарится. Слышь, что ли, мать? А-ха-ха...

Дородная женщина неторопливо вышла из-за пестрой занавески и обиженно поглядела на мужа:

– А чем наш Акинка не пара дьяковой дочке?

Никита ухмыльнулся в бороду, сказал едко:

– Губа не дура! Ин, к какому кусине тянется. Да-а... У дьяка вотчина, крепостные людишки, домишки да торговлишка на Москве, а дочка одна... Ловко!

Женщина осмелела, подняла серые глаза с черной бровью, и тут Никита в который раз заметил, до чего сынок схож с ней.

– Что же, что одна у дьяка дочка. Так и сынок у нас, Демидыч, не простофиля...

– Ой-ох-х, ну вас к богу, – отмахнулся Никита. – Не поднимайте сором на посаде. Поди, засмеют шабры. Я тебе, брат, – тут батька снова сердито нахмурился, – я тебе сватом не буду. Хочешь дьякову дочку – сватай сам...

Акинфка выпрямился, повел серыми глазами:

– Что ж? Сосватаю и сам.

– Ишь ты! – Тут батьке рассердиться бы, но упорство сына пришлось по душе, он встал со скамьи. – Храбер бобер! А глазами весь в тебя, matka.

Женка Демидова зарделась: «Ишь, разошелся батян».

Акинфка дел в дальний ящик не откладывал. Обрядился он в новину и пожаловал на купецкий двор. Дворовые холопы пристали с допросом: «Куда да зачем?»

Твердый характером Акинфка осадил холопов:

– Подите скажите дьяку: пожаловал к нему тульский кузнец Акинф Никитич, хочет о деле молвить...

Дьяк с вечера перехватил через край настоек, медов, объелся солений, блинов, уложил балычка с пол-осетра, – изжога проклятая мучила, да гудело в башке, как из пушек кто палил. Все утро надрывался дьяк от непотребных площадных слов. Ругал купчишек, мастеров, подрядчиков.

Тут о кузнеце доложили. Дьяк сам вышел на крыльцо. Купец Громов – богатеи, по-боярски хоромы разделал. Крыльцо расписное, узорчатое, с резьбой: петухи, кресты, кружковныи – все радовало глаз.

На высоком крыльце, держась за пузатый резной столб, предстал дьяк Утенков; борода у него мочальная, морда лисья, хитрая. Стрельнул в Акинфку плутоватым глазом:

– Ты зачем, кузнечишка, пожаловал?

Акинфка шапки перед дьяком не сломил, сказал смело:

– По большому делу, дьяк, явился я. При холопьях как будто и не к месту.

Дьяк, как индюк, напыжился, налился краской: «Ишь ты, чертоплюй, шапки не ломает, не гнется. Не по чину нос держит».

– Эй ты, худородье, выкладывай тут, за какой нуждой пожаловал? – закричал с крыльца дьяк. – Чать, не в сваты пришел?

Акинфка насупился, поднялся на крыльцо:

– А может, и свататься пришел, почем ты знаешь? Хошь бы и так? Я с царем Петром Ляксеичем на одной наковальне ковал.

Дьяк глаза вылупил, от злости в горле заперхало. Повел рыжеватой бровью и закричал тонко, по-бабьи:

– Ах ты, тульская твоя... пуповина, в сваты... Ах ты... Тьфу!

Сочно плюнул под ноги. Акинфка-кузнец не сдался, схватил дьяка за полу кафтана, дернул:

– Ты-то не плюй, може, еще сгожусь. Молви: отдашь дочку?

– Ух, – выдохнул дьяк. – Морок тебя возьми! Эй, холопы, гей!..

Со двора набегали людишки, схватили Акинфку. Он отбрыкивался, отбивался; не одному холопу покрушил зубы, посворотил скулы, но осилили его. Подталкивая кузнеца кулаками, холопы приволокли его на широкий купеческий двор, обнесенный дубовым остроколем. Не успел моргнуть глазами Акинфка, как ворота закрылись и загремели запоры.

Что это еще будет? Кузнец поглядел на островье тына и подумал: «Эх, перемахнуть бы через заплот».

В эту минуту в углу двора в яме шевельнулось бревно и показалась медвежья лапа.

– Ого! Вот оно што! – ахнул Акинфка. – На людей зверье спускать...

Он разом оглядел двор. Пусто. В окне купецких хором мелькнуло обеспокоенное девичье лицо. «Уж не она ли?» – подумал Акинфка и кинулся к заплоту; там стоял кол. Кузнец схватил его.

Медведь выбрался из ямы и пошел на Акинфку. Поднявшись на дыбы, зверь заревел, занес когтистые лапы, но Акинфка не зевал и дубьем хватил зверя по голове. Кол разлетелся в щепы. Зверь рассвирепел, сгреб Акинфку, и оба покатались по земле. Кузнец изловчился, выхватил из-за голенища нож и всадил под медвежью лапу...

Смертельно подколотый, истекающий кровью, зверь еле уполз в яму. Акинфка разбежался и перемахнул через тын, оставив на остроколье полштанины.

Задами да огородами кузнец пробрался домой, умылся, переделся в рабочее рядно и отправился в кузницу.

В кузнице батя с веселой усмешкой оглядел ободранное лицо сына и озорно спросил:

– Что, усватали?

Акинфка промолчал и сильнее заколотил молотом по звонкой наковальне.

2

Ружья слажены. Дула вытянули из доброго металла, отделали на совесть, ружейные ложа обладили из особой березы – умел ее подбирать Никита, – ложа те вырезаны искусно, плотно ложились в плечо, и оттого ружья били легко и метко. Мастерки работали у Никиты, почитай, за грош. Жадный и цепкий до работы, Никита выматывал силы людей без зазрения совести. Бились люди, как мухи в паучьих тенетах, день-деньской за один хлеб да квас.

Зато и ружьишки, прикинул Никита, обошлись дешево.

Снарядили обоз, погрузили ружья; приготовился кузнец Антуфьев в дорогу. Поклонился Акинфка батьке в пояс:

– Возьми в Москву.

Призадумался Никита, тряхнул бородой:

– Нет, погоди, сынок, не вышла пора. В другой раз.

Лицо Акинфки омрачилось: до смерти хотелось ему повидать царя Петра. Бродили в молодом туляке неистраченные силы, искали выхода. И-их, заграбастал бы он всю Тулу и повернул бы все по-своему! Ждал он от царя радости. Но что поделаешь, коли батя приглушает пыл? Сдерживая буйную страсть, Акинфка смирился.

– Только ты, батюшка, – попросил сын, – поклонись царю Петру Ляксеичу от меня и замолви ему, что тесно нам. Кузница наша махонькая, добывать руду негде, уголь жечь не с чего...

Никита сдержанно похвалил сына:

– Думки у тебя умные. Что ж, замолвлю перед государем словечко. Ну а ты, женка, что наказываешь? – повернулся он к супруге и пытливо посмотрел на нее.

Женка подняла серые глаза и, встретясь с веселым взглядом мужа, озорно отозвалась:

– Скажи, что поджидаю его в гости.

– И-их, ведьма, – присвистнул Никита и оглядел женку. «Ничего бабенка, – довольно подумал он, – на такую и царь позарится... Ну, да царю можно... Эхма!»

Распрощался Никита с домашними и уехал в Москву. Знал кузнец до той поры Тулу да Воронеж, а Белокаменную по наслуху представлял. Сказывали бывалые люди: «Москва – горбатая старушка», то бишь стоит город-городище на горах да на крутых холмах. И еще сказывали

вали: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят», а то еще баили: «Славна Москва калачами и колоколами», а потому просили «хлеба-соли откушать, красного звона послушать».

«Какова-то она, Москва-матушка?» – думал Никита дорогой.

Стояла зима крепкая, здоровая, по-русски сугробистая и сияющая зимним лучистым солнцем. Дорога шла накатанная, Никита мчался впереди обоза с кладью, из-под копыт коней сыпались снежные комья, запорашивало глаза, в ушах свистел ветер. Возчик покрикивал:

– Гей, гей, воронье!

Кони и без того несли птицей. Вначале навстречу бежали боры, пустопорожние места, потом засерели боярские усадьбы, деревни. На другой день кони проносились через перевенное снегом громадное озеро, за ним маячило сельцо. По озеру бегали люди. Загляделся Никита. Бородатые и безбородые молодцы, побросав сермяги, черные азамы, работали кулаками. Шел кулачный бой. Ватаги рассеялись по озеру, бегали с места на место; уханье и гогот кружились над оснеженным полем. Бойцы насккивали друг на друга, дарили-угащивали увесистыми кулаками. Ой, любо! У Никиты зачесались руки, он выскочил из саней, отряхнулся, скинул варежки и схватился огромной пятерней за густую бороду. От бороды пошел парок: стоял иней.

– Ух-х! – крикнул кузнец, скинул на ходу дорожный тулуп и бросился к ватажке.

На взгорьях красовались девки, топтались старики. Народ волновался:

– Гляди, гляди... Ишь, черномазый крушит! Откуда что взялось?

Кузнец разминал кости, гонял застоявшуюся кровь. Под его ударами люди падали, раздавались стоны, крики, ругань.

Отряхнулся Никита, повел черным глазом, а перед ним в легком шушуне стоит стройная чернявая девка, покрытая большим платком в роспуск.

Опустил кулаки перед девкой:

– Ты кто?

– Крепостная я. Может, и слышали, дьяка Утенкова.

– Слыхал! – сказал Никита и предложил девке: – Садись, до деревни довезу!

Какой-то парень из ватажки орлом налетел на кузнеца. Туляк остановился, скинул шапку, склонил крепкую голову.

Быть бы тут крепкому бою, но девка оттащила кузнеца, вскочила в сани. И понеслись в сельцо.

У чернобровой девки горело от мороза лицо, блестели глаза.

Она смеялась хорошим смехом.

– Ты не бойся, – сказал кузнец. – У меня сын есть. Женить хочу. Как тебя звать?

– Дунька, – отозвалась девка. – А сын-то каков?

– Сын в меня, – похвалился кузнец.

– Ежели в тебя, пойду за него. Выкупай!

– Выкуплю! – уверенно сказал Никита. – Не я буду – выкуплю! Э-ге-гей!

Кони понесли от озера. Поднимая снежную пыль, разудало гремя бубенцами, тройка влетела в сельцо. Мимо замелькали избы из крепкого, кряжистого леса, хибары, кузница. Из ворот выбежали любопытные бабы:

– Гляди, цыганище девку уволок.

– Гони к старосте! – крикнул ямщику кузнец.

Кони подкатали к просторному приглядному дому, крытому шатром в четыре ската. Девка выпрыгнула из саней и убежала к родным, а кузнец поднялся на крыльцо, стукнул кованым железным кольцом.

Дверь распахнулась, на пороге встретила сухопарая старуха с умным лицом. Завидя хорошо одетого Никиту, она поклонилась ему:

– Милости просим, батюшка!

Кузнец вошел в избу, зорким глазом обшарил горницу, перекрестился на красный угол и уселся к столу.

– Ну, хозяйка, корми гостя. Изголодался в пути. Да не скупись, в обиде не будешь!

Вскоре на сковороде шипела румяная свинина. От приятных запахов во рту у кузнеца скопилась обильная слюна. В глиняной темной миске поблескивали промасленные блины, рядом – горячий горшок с топленым молоком. Вокруг стола по скамейке и подоконникам ходил черный кот, отфыркивался от аппетитных запахов, умильно поглядывал то на поблескивающее молоко, то на кузнеца и мурлыкал нежно, вкрадчиво.

– А ты не вертись, страхолютик! Брысь, – прикрикнула бабка на кота и ударила его ложкой.

Кот обиженно фыркнул и нырнул под лавку.

Кузнец неторопливо ел.

За окошком на улице ходили мужики в рваных армячишках, в стоптанных лаптях; всклокоченные, отощавшие крепостные боязливо поглядывали на оконце.

«Ишь, как запуганы старостой», – подумал кузнец.

Стоял февраль; до вешнего разводья оставались считанные дни. «Не успеть в Москву-матушку да обратно в Тулу до всполя – пиши пропало!» – беспокоился Никита.

В избу ввалился краснорожий мужик, староста.

– Продай девку! – попросил кузнец.

Староста бирюком поглядел на проезжего. Подумал: «Ишь, выискался купец-молодец!»

– Дорога девка, не купишь, – отозвался он сумрачно.

– Куплю. Сколько хошь?

– Десять рублей.

Кузнец почесал за ухом:

– Дорого! Это ж баба, а не конь. Ух ты! Ну, куда ни шло, будь по-твоему!

– Ты что ж, батюшка, когда ее возьмешь? – спросила старуха.

– Поеду из Москвы и увезу! А пока поберегите девку! – наказал кузнец.

Торопился Никита к царю. Скоро столица: оживленнее стали дороги, встречались ратные люди, скакали вершники, шли ополченцы, обгоняли боярские колымаги. В людных селах на въездах у царских кабаков шумно гомонил народ.

Утром подкатили к Воробьевым горам, на них тихий зимний простор. По голубому зимнему небу легко и неторопливо плывут облака, по краям золотистые от солнца. Воздух колкий, хрустальный. Легковесны и стройны опушенные инеем березы. В их затаенной глуши – звонкий морозный треск; дятел долбит сухие лесины.

На редколесье, на повороте, в дымках – Москва.

Зубчатые белокирпичные стены дальнего монастыря. Черные прозоры бойниц, кое-где виднеются тупорылые пушки. За зубчатой стеной блеснули алебарды. Никита окинул простор, вздохнул: «Вот оно как!»

За монастырем, за подернутой дымкой далью показались зубчатые стены Кремля. Вдоль них раскиданы зеленые шапки старинных башен, тайниц. Над ними – Иван Великий в позолоченной шапке. Церкви, церквушки, часовенки, зеленые черепичные перекрытия, красные, глазурные, с синеватым отливом; золото, серебро, слюда – все блестит и переливается на морозном воздухе.

Москва! Москва!

Никита Антуфьев снял шапку, перекрестился:

«Вот она, матушка! Добраться бы к Петру Ляксеичу. Тут, чать, не Тула».

Санки покатались под гору. Лицо кузнеца осыпали колкие снежинки. Он повеселел.

3

Царь Петр просто и приветливо встретил тульского кузнеца. Жил государь не в Московском Кремле, где все напоминало стрельцов и ненавистную сестрицу Софью, а в Преображенском. Все у царя как-то наспех, по-походному: глядишь, вот снимется и ускачет по неотложным делам на другой край России. А дел-то было – не перечесть! Всю дорогу от Москвы до Преображенского Никита встречал людей разного звания: торопились туда и оттуда. Покрикивали форейторы, скрипели полозьями грузные боярские возки, скакали курьеры, в открытых санках торопились немчишки в Преображенское. На обширном дворе перед скромным небольшим царским дворцом стояло много саней парадных, расшитых персидскими коврами, с медвежьими полостями; были тут и простые сани; под навесом навалены тюки с пенькой; у тына стояли оседланные кони; густо толкался народ – русские и иноземные купцы, солдаты, мастеровые, матросы. У крытого возка, прижав к груди лохматую голову верзилы, выла толстенная боярыня.

– С чего это она ревет? – стал пытаться Никита форейтора.

– Не вишь, что ли? Царь-батюшка в науку за море шлет боярское чадушко. Ось-ка, дуrolомы. – Форейтор с опаской оглянулся на боярский возок.

Доложили царю, что тульский кузнец Никита Антуфьев привез ружья, – живо в покой допустили. Около царя толпились знакомый Никите переводчик Посольского приказа Шафиров, немцы с Кукуй-слободы, иноземные мастера, дьяки Пушечного приказа. Шафиров издал приметил кузнеца.

– А, туляк – черная борода, опять что надумал? – густым басом загудел он.

Никита осклабился, почтительно поклонился толмачу:

– Ружьишки приволок, своих рук работенка.

– Ну, кузнец, чем порадуешь? – Царь запросто обнял Никиту. – Садись, рассказывай.

Народ посторонился. Никита понял оказанное почтение, крякнул, неторопливо огладил цыганистую бороду:

– Вашего Величества приказ выполнил. Прослышал, что в ружьях вышла нужда, – свои, тульские, наработал...

У Петра усы шевельнулись, глаза засияли; хлопнул кузнеца по плечу:

– Молодец, Демидыч! Тащи ружья!

Иноземные мастера, презрительно поджав губы, недоверчиво разглядывали Никиту. Однако туляк нисколько не смутился; он проворно извлек из возка пару ружей и внес их в горницу. Немцы оживились и, даже не глядя на фузеи, посмеивались. Заранее радовались неудаче русского кузнеца, но вышло по-иному. Адмирал Лефорт, весьма чтимый царем за ум, внимательно осмотрел ружья и похвалил:

– О, этот мастер – золотая рука! Фузеи сделаны отменно.

Царь засиял весь и подхватил похвалу Лефорта:

– Добры, добры ружья!

Иноземные мастера позеленели от зависти.

Тут Петр Алексеевич повернулся к Никите, схватил его за плечи:

– А ну, сказывай, Демидыч, сколь за ружья хошь. Небось не хуже свеев аль аглицких купцов заломить?

Сердце Никиты затрепетало: вот этой-то благоприятной минуты он давно ждал; то-то ж сейчас подивит царя да иноземных мастеров. Потупился Никита, помолчал с минуту в глубоком раздумье; знал, как поднести задуманное. Петр спросил:

– Что молчишь, Демидыч? – Сам думал: «Хошь и дороже иноземных станут, а все сподручнее. Свои; прикажу – наделают...»

Поднял черные глаза кузнец:

– Знаю, Ваше Величество, что за такие ружья Пушкарский приказ платит ино двенадцать рублев, ино пятнадцать.

Никита глубоко перевел дух:

– Грабят жимолоты Расеюшку. А те ружья, что нами в Туле сработаны, буду ставить я, Ваше Величество, по рублю восемь гривен.

– Демидыч! – засиял царь и расцеловал крепко, простежки. – Жалую тебе опричь всего сто рублей награды. А ты постарайся, Демидыч, распространить дело, и я тебя не оставлю!

– Я и то думаю, Ваше Величество, да вот руду негде копать, да с углем тесно, жечь бы самому, да кругом леса казенные...

– Жалую, о чем просишь...

Царь отпустил кузнеца до вечера, а к вечеру чтобы непременно пришел: дела есть.

Целый день кузнец Никита расхаживал по Москве, ко всему приглядывался. Вблизи не было три красоты, которую Никита видел с Воробьевых гор. У Китай-города, в Кузнецкой слободе стояли закопченные бревенчатые кузницы под стать тульским; подальше, со стороны Неглинки, вдоль улицы вытянулись вязы, разубранные инеем, а еще далее были блинные ряды, за ними – скотная площадка. Речка Неглинка текла в самом городе в грязных, болотистых берегах, на них московские жители сваливали всякую заваль и помет. На Трубной площади Неглинка расплылась в топкое болото и мутью текла до самых кремлевских стен. «Ух ты! – вздохнул Никита. – Столица, а боярешки запустили город. Гляди!»

Московские улицы были мощены бревнами, и, зная, в любую пору не сладко дорожному человеку трястись по этому накатнику. Только в Кремле да в Китай-городе были каменные мостовые. Тут и дома строились из камня и в линейном порядке. В других местах – гати, окопанные пруды, плотины. Церквей Никита и сосчитать не смог: тут и Рождество на Путинках, и Грузинской Богоматери иконы, и Николы Мокрого, и Пречистенка, и на Ключах богоявление, – кузнец еле успевал скидывать шапку и класть крестное знамение.

Город был деревянный. Неустройство и грязь лезли из всех щелей. Только бояре и жили широко да привольно, но бестолково и неряшливо. Не понравилась тульскому кузнецу Москва. На папертях у церквей стая обшарпанных, страшенных юродивых. Завидев Никиту, они стали выворачивать и пялить свои язвы и гнойные места. А хари-то, хари, не приведи бог, в жизни не видывал таких Никита! Косоротые, безносые, горбатые, зобатые – лаяли, стонали, кричали, выпрашивали.

Демидов сплюнул:

– Ух и нечисти сколько развелось!

Вечером в беседе кузнец пожаловался царю. Впопыхах осмелевший кузнец назвал царя попросту Петром Ляксеичем.

– Не нравится мне, Петра Ляксеич, Москва-то, – много в ней такого неприглядного...

– И мне не нравится, – охотно согласился царь, – много юродства поразвели в ней бояре.

Петр усадил кузнеца за стол рядом с собой и стал расспрашивать про домашних:

– Как женка-то? Поклон-то привез мне?

Никита взволновался, приглушил ревность. Ответил царю спокойно:

– Здорова баба и низко кланяется... А сын-то, Акинфка, забыть тебя, Петра Ляксеич, не может. Просил насчет рудной землишки...

– Будет, – обнадежил государь.

Петр не забыл своего слова, пожаловал Никите грамоту на землю в Малиновой засеке⁶ для копания железной руды и жжения угля.

⁶ Во второй половине XVI века Тула и окружающие районы представляли сплошной укрепленный лагерь. Для обережения от татарских наездов была устроена особая засечная полоса – ряды полусрубленных, «засеченных» деревьев, отсюда и само

4

Акинфке разом выпали две радости: батя привез женку и жалованную грамоту на рудные земли. Молодой кузнец обошел вокруг девки, пригляделся. Статна, тугая, как ядреный колос, а глаза – словно вишенья. Рослая да румяная. Ух и девка! И Дунька обрадовалась парню: «Верно, не обманул кузнец...»

Поженили молодых.

Дунька оказалась на редкость послушной и крепкой бабой. Акинфка – в кузню, и Дунька – в кузню. Акинфка – за молот, и она – за молот. Силы в ней – прорва! Раз играючи схватилась бороться с Акинфкой. Вот баба!..

Вскоре из Москвы от Писцового приказа наехали подьячий и писчик; по указу царя Петра Алексеевича отмежевали в Малиновой засеке рудные земли, а для жжения угля во всю ширину Щегловки отвели лесную полосу. Копай, Никита Антуфьев, руду, руби вековые лесины, жги уголь и плавь железо! Но и это показалось кузнецу мало: надумал он пустить в ход водяные машины, а для этого решился на речке Тулице построить плотину. По приказу царя подьячий отмежевал, взамен затопляемых земель Ямской слободы, стрелецкие земли. Не забыл Петр Алексеевич стрелецкую смуту, ужимал стрельцов где доводилось.

Поднял Никита близлежащие волости; нанял вотчинников в поместьях и согнал на постройку плотины. Работа была каторжная; кормил тульский кузнец работников незavidно, народ надрывался и мёр, как мухи под осень. Большие дела завертелись: ставили новые мастерские, копали руду, плавил ее, лили ядра для Пушкарского приказа и на плотину за старосту для досмотра поставили Дуньку. Молодайка попала под статью Антуфьевым: яростная к работе, все силушки из мужиков выматывала.

В одно лето при лютой работе возвели мужики на реке Тулице плотину, и заводчики пустили в ход водяные машины. Вскоре и домна задымила.

Работал завод Антуфьева не только фузеи и самопалы, но и пушки и ядра. Домна была вышиной в одиннадцать аршин, и раздувалась она мехами, а мехи приводились в движение водяными машинами. Домна давала до 120 пудов чугуна в сутки. Для того чтобы этот чугун получить, требовалось 200 пудов пережженной руды да 300 пудов угля. Чугун и шел на отливку пушек и ядер. Перед домной был вкопан дубовый чан вышиною в три сажени, в который ставились пушечные формы.

У плотины Никита соорудил амбары; в них сверлились, обтачивались и полировались пушки; ковались тут и доски для ружейных стволов, для чего были установлены кулачные молоты, переделывающие кричное железо в нужное поделье.

Прибрал Никита бездомных бродяг. Копали они руду, отдавая последние силы. Жили в землянках, как кроты, кормились хуже дворовых собак. Углежоги в делянках жгли на уголь полномерные крепкие дубы, чудесный гибкий ясень и клены. Работа эта неприглядна и тяжела: валили лес, распиливали его, подвозили, складывали в поленницы, потом в кучи, дерновали и жгли. В студеную зиму ни зипунов, ни шуб, ни рукавиц, ни варежек не выдавалось, еда тощая, – ложись и умирай. Каторга!

Быстро полезли в гору Антуфьевы; богатели, как в сказке. Однако в чванство тульские кузнецы не ударились. Ходили они в простых кожаных, трудились наравне с работными людьми. Одно только и отличало: срыли Антуфьевы старую избу, выстроили просторный брусной дом, обнесли его дубовым тыном да цепных кобелей завели.

За военные снаряды, которые Никита поставлял в Пушкарский приказ, платили по двенадцать копеек за пуд. Царь Петр при всяком случае отмечал Антуфьевых:

название «засека». Малиновая засека тянулась к юго-западу от Тулы.

– Оборотистые люди, таких бы мне под руку десяток, горы ворочал бы.

5

Акинфка за горячими делами забыл свой поход к дьяку Утенкову, а дьяк меж тем все еще проживал в Туле. Время подошло горячее, военное: объезжал дьяк казенные оружейные заводы, торопил с работой. Сунулся было Утенков на завод Антуфьевых, но Акинфка как будто и не признал дьяка.

– Кто такой за человек? – поднял он серые глаза на Утенкова.

Дьяк съязвил:

– Аль не признал? Как будто твои портки на тыну остались?

Акинфка потемнел, но обиду свою не выдал. Засмеялся весело, раскатисто:

– Ничего, мои обноски тебе впору!

Дьяк словно подавился. Позеленевший от злости, он жадно ловил воздух. За переборкой сидел батька Никита; услышав дерзкий ответ сына, он улыбнулся:

– Молодец! Ловко отчекрыжил крапивное семя!

Потоптался, покрутился дьяк, сжал зубы, повернулся и уехал. Рад бы насолить Антуфьевым, но что теперь поделаешь с ними, если они стали самому царю известны?

Долго бередил душу Утенков: «Столько годов отжил, всякого, кого надо и не надо, к ногтю поджимал, а тут – неужто не отблагодарю Антуфьевых?»

– погоди ж ты, – пригрозил он кузнецам. – Найду я на вас загогулину!

Подлинно, понюхал-покрутился дьяк по засеке и высмотрел ту «загогулину», за которую зацепиться можно. Обдумал дьяк и настроил царю грамоту.

Петр в ту пору двигал войска к Финскому заливу, думал о морях да кораблях. Грамота же Утенкова уведомляла его, что под Тулой в Малиновой засеке, в той самой, что Писцовый приказ отвел кузнецам Антуфьевым, изобильно растет добрый дубовый, кленовый и ясеневый лес, весьма годный на кораблестроение. А лес этот кузнецы Антуфьевы безрассудно жгут на уголь, и оттого государевой казне выходит чистый убыток и разор.

Доброе дерево добывалось с большим трудом. На севере да на западе страны росли сосна, ель, осина да береза. А кораблестроение требовало здорового полномерного дуба, добро высушенного, и не только прямого, но и природно изогнутого. Дубы, годные на корабельный набор, встречались небольшими рощицами, и каждое дерево береглось пуще глаза. На верфях и на шлюзной работе каждый дубовый брус или шпангоутная кривуля расходовались осмотрительно. По наказу царя на мелкие корабли шла сосна, нередко при спешке сырая, прямо с лесосеки, и только на самые важные части кораблей отпускался лучший дуб.

Получив от дьяка донесение об истреблении дубов, царь, не мешкая, выслал в Тулу приказ, запрещающий Антуфьевым рубить лес в Малиновой засеке на уголь...

Получил Никита царский приказ и ахнул: как теперь быть с литьем пушек и ядер? Запасы угля кончались, а Пушкарский приказ торопил с поставкой. Военная пора не ждала. Приуныл Никита: хоть царь и добр к нему, однако понял кузнец, что у Петра Алексеевича дружба дружбой, а дело делом. Если кто поперек станет, царь того не пощадит – переломает хребет!

Дьяк Утенков, злорадствуя, не раз мимо завода в колымаге проезжал, зорко доглядывал, как царский указ исполняется. Тут ненароком и повстречался дьяк с Акинфкой. Хотел кузнец мимо пройти, не приметив приказного супостата, а тот сам первый сломил соболью шапку.

– Здорово, кузнец. Ну, как кукарекаешь без угля?

Злость полыхнула в Акинфкиных глазах: не любил он ни дьяков, ни подьячих, ни ярыжек – больно жаднущи и подлы на руку. Только бы хапнуть! Акинфка поглядел на Утенкова и усмехнулся:

– Поглядим, дьяк, кто еще из нас кукарекать будет...

– Ишь ты! – ядовито ухмыльнулся в бороденку дьяк и уехал прочь.

Не спалось Акинке много ночей: тесно на Малиновой засеке. Горами бы тряхнуть Акинке Демидову! Вот бы!

Надумал он большое, невиданное дело. Порассказал батю, тот ахнул:

– Ну и башка у тебя, сынок. Ух ты! Будь по-твоему.

Оба неожиданно заторопились в дорогу.

Глава третья

1

На востоке России, от Киргиз-кайсацкой степи и до полуночного Студеного моря, лежит суровый Каменный Пояс. Кругом гранит, скалы, покрытые дремучими лесами, среди гор – глубокие озера, бурные реки. Край этот кишит зверями. В недрах каменных сопков, в падах у гремячих вод лежат медные и железные руды, самоцветы невиданной красоты. Изумруды, горный хрусталь, красные самоцветы с искрами драгоценной шпинели – лалы, топазы, фатисы вишневые – гиацинты, юги зеленой шпинели – хризолиты – все это открыл простой русский искатель в горах. Над Нейвой-рекой, повыше Мурзинской слободы, медной руды плавильщик Димитрий Тумашев на восточном склоне Каменного Пояса отыскал неслыханное по богатству месторождение узорчатых камней. 21 декабря 1669 года в царской грамоте писали о том открытии: «... обыскал цветное каменье, в горах хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые». А еще ранее, в 1645 году, рудознатцы братья Стрешневы по указкам крестьян отыскали невяньские и ирбитские медные руды. Тысячи любознательных русских людей издревле шли по нехоженным тропам, открывая руды и драгоценные камни, скрытые в земных недрах. По старым русским летописям известно, что в края уральские издавна проникали предприимчивые новгородцы – храбрые ушкуйники. По озерам и рекам в больших «ушкунях» пробирались они сюда и грабили охотников, отбирая пушнину: соболей, куниц, бобров. Три века с лишним охотничьи народцы платили ясак новгородским ушкуйникам.

Преданья передавали, что давно, в глубокой древности, неизвестный народ – «чудь бело-глазая» – первым тронул каменные недра. В глубоких копаниях и ямах пришлые Новгородской и Московской земли предприимчивые люди нашли человечески кости, черепа, медные кайлы, молоты и рукавицы из доброй кожи, шитые крепкой жилой. По тем следам сметливые люди напали на железные и медные руды.

Новгород покорила Москва, и московские бояре, прослышав про дорогую рухлядь – соболя, посылали на Каменный Пояс ратные отряды, ставя на перепутьях торговых дорог гарнизоны.

В 1430 году солепромышленники Калинниковы основали в этих краях город Соль Камскую; этим положили начало горному промыслу. Соль была первым минералом, который потянул людей в недра Каменного Пояса.

Московские государи, ведя войны с беспокойными соседями, весьма нуждались в разных металлах. В далекие годы, при царе Иване Васильевиче Грозном купцы-вотчинники Строгановы копали и плавил медные и железные руды на разное поделье и оружие, но на первом месте ставили они добычу соли.

Федор Лукич Строганов заложил в 1488 году у Соли Вычеготской соляные варницы. Сын его, Аника Строганов, унаследовал от отца все его поместья, в том числе и варницы. Несмотря на огромные богатства, Строгановы были неугомонными, предприимчивыми людьми. Внуки Федора Лукича решили выбраться на простор и выпросили у царя грамоты на прикамские земли. Григорий Строганов получил обширные земли от Соли Камской до устья реки Чусовой, Яков – привольные края по Чусовой с притоками и по Каме-реке, ниже Чусовой. В 1574 году царь разрешил им копать на тех землях металлы.

Местные вольные народы не сдавались пришлым московским людям, беспрестанно тревожили их. Чтобы оберечься от лихих набегов, Строгановы по торговым путям построили укрепленные острожки, пригласили на ратную службу казаки, лихие ватажки Ермака. Отсюда и начались Ермаковы походы по рекам Чусовой и Сылве до хребта, через хребет волоком в

реки Тагил и Туру, в бескрайное царство Сибирское. Так из года в год шло освоение далеких земель.

Отдельные доходчики в этих местах сами по нужде добывали руды, плавили их в малых печах-домницах.

Димитрий Тумашев, первооткрыватель самоцветов на Каменном Поясе у истоков рек Нейвы, Режа и Исети, между озерами Таватуй, Аятским и Исетским, найдя руды, поставил в 1669 году железоделательный завод. Рудознатец Федор Рукин с людьми из Колчеданского острога в 1682 году разведаль руды неподалеку от Далматовского монастыря. Монахи скоро поняли толк в железных и медных рудах. На реке Исети вотчина Далматовского монастыря построила завод, копали и возили в него руды с речки Каменки тяглые мужики. Христоролюбивые чернецы не щадили работников, томили в шахтах, послушников били батогами, надевали на шею рогатки: ни лечь, ни спать. Тяжко жилось монастырским крепостным у стен Далматовой обители.

Так возникали на Каменном Поясе заводы. Были они маленькие, существовали недолго, зачастую их переносили с места на место, но положили те заводы начало металлургическому делу.

Московские и новгородские купцы, расторопные служилые люди – стольники и думные дворяне, дьяки и подьячие, «салдацкого строю» офицеры и стрельцы, монахи и торговые гости, а больше всего простые русские люди – кабальные посадские и казаки, – все они, как капля воды в породу, пробирались на Каменный Пояс и отыскивали руды, соль, самоцветы и слюду.

В ту давнюю пору уже возникали товарищества для широкого розыска горных сокровищ. По замыслу боярина Артамона Сергеевича Морозова возникали кумпанства для розыска золота, серебра, меди и других металлов. В конце XVII века розыском золота и серебра на Урале занимались Яков Галкин, Семен Захаров и Андрей Виниус. И много было других, которые помышляли о розыске руд. Все эти предприимчивые люди потихоньку жадными руками захватывали рудоносные земли, а коренной народ – башкиры и татары изгонялись и без жалости истреблялись захватчиками.

Московские цари при этом положили строгий запрет: не дарить, не продавать коренным народам железо. Спаси бог, чего доброго, они ружья да сабли наготовят!

2

Еще до своего отъезда в иноземщину царь Петр Алексеевич в 1696 году повелел верхотурскому воеводе Димитрию Протасьеву разузнать, где есть лучший камень-магнит и добрая железная руда. Оборотистый и смекалистый воевода понимал толк в рудном деле: он в тот же год представил царю образцы потребных руд. Камень-магнит воевода раскопал на берегу неумной речки Тагилки, а железную руду – на Нейве.

Руда была добра, выгодна к обработке – богата железом. Тут вспомнил царь про опытного тульского кузнеца Никиту Антуфьева и повелел отослать ему невьянскую руду для испытания. Никита быстро взялся за дело: выплавил из присланной руды отличное железо, сделал из него несколько ружей, замков, бердышей и делом доказал царю, что невьянское железо не хуже свейского, плавится с выгодой и весьма годно в оружейном деле. Толковая работа тульского кузнеца понравилась царю, он приказал верхотурскому воеводе немедленно приискать удобное место для постройки завода и на том заводе лить пушки, ядра, железо для фузей. Место это было определено, и в 1698 году на реке Нейве под деревней Федьковской заложен был завод. Через год отобрали на московских заводах мастеров-литейщиков и отправили на Каменный Пояс.

Первое добытое железо водной дорогой доставили в Москву, где на Пушечном дворе его подвергли испытанию. Знатки из Кузнецкого ряда признали железо весьма годным. Часть

невьянского железа отослали для испытания в Тулу. Вновь загорелся Никита Антуфьев, затопил кузнецов. Акинфка неделю не вылезал из кузни. Ну и железо! Оно звонко пело под молотом Акинфки, и молодой кузнец кричал от удовольствия: «Горы бы такого железа – все бы перековал на фузеи».

Когда посылали сработанные из присланного железа ружья в Москву, дознался от отца Акинфка, что кованное им железо – русское, и копано оно в недрах Каменного Пояса.

Потянуло молодого кузнеца повидать далекие Уральские горы.

– Вот бы добраться до них да загреметь кайлой так, чтобы гул по земле пошел!

3

Антуфьевы собрались в дальнюю дорогу. Ладили большой обоз: царю везли фузеи, алебарды. На посаде покупали тульских бойцовых гусей, резали живность, замораживали, укладывали в короб; известно, сгодится все в Москве-матушке. В Москве всяк подьячий любит пирог горячий. Известно, подьяческий карман, что утиный зоб, не набьешь, потому бойся худого локтя да алчных глаз и всякую беду подарком отводи!

Отошли метели, потускнел снег, не отливал больше голубоватым отсветом, – подходила весна. Днем пригревало, и на реке Тулице посинел лед.

На первой неделе Великого поста тронулся Никита с обозом в Москву. По дорогам на пригорках бродили изголодавшиеся галки. Обоз двигался ходко. У Акинфки на сердце лежала радость: скоро увидит царя Петра Алексеевича. Проехали знакомую Никите деревеньку, где он купил Дуньку. На попаске крепостные мужики обступили обоз, допытывались: «Не надо ль тульскому купцу девок? Год ноне на девок урожайный, девки подоспели добрые, работные!» Никита задрал вверх бороду, весело оскалил крепкие зубы:

– Ишь ты, понравилось! Годи, народ, с Москвы повертаюсь, дела заварю – всех девок и парней покупаю.

Деревеньки по дорогам лежали ободранные, серые, и народ встречался рваный да голодный. Год был неурожайный. Акинфке было двадцать три года, но хватка в нем хозяйская. Он прикидывал про себя: «Кому беда, а нам, может быть, в самый раз – в рудник скорей загонишь голодного человека». На ночевках приходилось смотреть в оба, как бы кладь не своровали. По дорожным корчмам да кабакам много татей⁷ вертелось: только и ждали минуты, как бы дорожному человеку разор учинить.

Шли обозом в Москву неделю: въехали в Престольную в полдень, по городу гудел колокольный звон, и над церквами кружили несметные стаи ворон и галок.

У заставы, подле рогатки, стояли досмотрщики и выглядывали бородатых. Никита прослышал, был царский указ: повелевалось всем подданным, кроме пашенных крестьян, монахов, попов да дьяконов, обязательно сбрить бороду. С бородатых досмотрщики взыскивали пошлину: с пеших по тринадцати алтын две деньги, а с конных и более.

Антуфьев с немалым сердечным сокрушением достал кожаную кису и отсчитал досмотрщикам алтыны за бороду.

– Эх, жалость-то какая! Времечко-то, без рубля и бороды не отрастишь, – пожаловался Никита фискалам.

Рябой надсмотрщик с плутоватой рожей алтыны взял и выдал знак, а на том знаке написано было: «С бороды пошлина взята. Борода – лишняя тягота». Посмеялся он над Антуфьевым:

– Что приуныл, аль того не ведаешь: плохое дерево растет в сук да в болону, а худой человек – в волос да в бороду... Обрей волосье – алтыны уберегешь!

⁷ Тать – вор, хищник, похититель.

Никита сумрачно сдвинул брови, сказал строго:

– Борода дороже головы.

Досмотрщик не унялся, захохотал:

– Ус в честь, а борода и у козла есть.

– Ты, мил-человек, не очень-то, – строго пригрозил Антуфьев. – Я к самому царю Петру Ляксеичу зван на Москву, а с гостем можно бы и поласковой.

Досмотрщики махнули рукой:

– Езжай, езжай, путь дорога тебе...

– То-то! – крикнул Никита и шевельнул вожжой: возок помчал, а все ж таки жаль алтынов – докука оттого легла на сердце.

Остановились туляки на постоялом дворе у заставы. Низенький проворный корчмарь с воровскими глазами, глядя на богатый воз, залебезил. Возки убрали под навесы, Никита порасставил своих обозных сторожей, пригрозил корчмарю:

– На возах добро государево. Оберегай! Ежели что, царь Петра Ляксеич голову с плеч снимет!

Корчмарь косо поглядел на Никиту. Кузнец высок, черномаз, глаза острые.

«Ишь, сатана, – подумал корчмарь, – силен, знать, проворен, таким только сейчас и жить».

– Прикажешь для утробы что подать? – заюлил он.

– У нас все свое, – степенно ответил кузнец, – человек раньше Богу должен воздать, а потом утробу насытить.

Антуфьевы обрядились в новые азямы, переобулись в козловые сапоги с подковами. Акинфка лихо заломил баранью шапку. Поторопились в город. У Симона на Мокром Болоте выстояли обедню. Батка истово крестился и бил поклоны – дело затевалось серьезное.

Акинфка со святыми беседовать не любил, глядел по сторонам да на московский народ zenки пялил. Народ, видать, ловкий, не зевай! Впереди у клироса на коленях стояла старая боярыня, потухшими очами впиалась в тусклые образа. Одета она была в потертую кунью шубу. Акинфка весело поглядывал на гривастого попа. Попина высок, пасть львиная.

«В этакую пасть да штофа три водки плеснуть, – думал Акинфка, – совсем другой разговор с Богом завел бы!»

Отмолвившись, Никита повел сына по Москве в Кремль. От дотошных людей узнал кузнец, что царь в столицу пожаловал на Масленой неделе и теперь вершит спешные дела по воинскому разряду.

Шли кузнецы по кривым улицам и дивились: уйма люда. Акинфка ухмылялся: «И когда только московские бабы успели нарожать столько народу?»

Кипнем кипела Москва, по площадям и улицам спешил народ всякого звания. На площадях порасставлены возы, на них живность – куры, индейки, в бадьях свежая и соленая рыба, мешки с зерном и с крупой, свиные и бараньи туши. Промеж возов толкут грязный снег посадские людишки в желтых шубах с длинными рукавами. Подьячий с двумя писцами шныряет в толпе, собирая налог.

У базаров – церкви, над ними кружат крикливое воронье да галки, а на папертях пристают за подачками юродивые.

Тут же на торчком поставленных поленьях расселись мужики, и цирюльники стригут их; под ногами пестрит густой ковер остриженных волос.

На Красной площади, перед Кремлем, народ – толкуном, бродят преображенцы, копейщики, мелкая приказная крыса. Снуют лоточники с блинами, со студнем.

Посреди площади врыт толстый столб с железной цепью. У столба два палача хлестали батогами холопа за украденную в Обжорном ряду с лотка краюху хлеба. Рыжий дьяк с гусиным

пером за ухом, с чернильницей на опояске отсчитывал удары. Холоп был голоден, тощ, но терпелив – под батогами не дрогнул, не закричал.

Глядя на его мускулистую спину, Никита одобрил:

– Молодчага! Люблю дюжих. А ты, кат, подбавь жару, может, не сдюжит и взмолится.

– Уйди! – крикнул на кузнеца палач. – А то самого ожгу, – узнаешь тогда!

– Ух, дьявол, – выругался Никита, покосился на ката и нырнул в толпу: «Подальше от греха!»

Акинфка нахально расталкивал народ. Неподалеку от Спасских ворот куражился пьяный поп в затасканной сермяге.

У Кремля народ сгрудился плотным кольцом. Над толпой высился конный бирюч в красном колпаке. Кузнецы протискались вперед, бирюч зычным голосом читал царский указ. Антуфьевы насторожились: глашатай сулил награды, прощение старого воровства и попустительского тем, кто сыщет рудные места.

Бирюч изо всей силы кричал:

– «Каждый, какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чужих землях имеет право искать, править, варить и чистить всякие металлы: золото, серебро, олово, свинец, железо, такие минералы, яко селитру, серу, купорос и всякие краски, потребные земли и каменья».

Никита и Акинфка стояли затаив дух. Бирюч повысил голос и закончил:

– «За объявление руд от великого государя будет жалованье, а за сокрытие – горькое битье батогами и яма».

Глашатай кончил читать, народ зашумел. Тульские кузнецы выбрались из толчеи. Никита просиял, поглядел довольно на сына:

– Ну, Акинфка, ко времени мы подоспели в Белокаменную. Будет толк.

Сын глянул на кремлевские башни и сказал весело:

– Эх, в каких хороминах живет царь!

Вошли в Кремль. Никита заметил большую перемену с той поры, как впервые здесь был. Появились пустыри-пепелища – в прошлом году в жаркую пору, под Петра и Павла, в Кремле закружил пожар и истребил много строений: погорели государев дом и древние кремлевские церкви. На Иване Великом царь-колокол подгорел и ухнул оземь – раскололся. Рушились в Кремле древние церквушки и хоромы; по царскому приказу многие домины бояр были снесены, а земли взяты в казну. В Кремле и вокруг него шла кипучая работа; государь укреплял Белый город.

Опасался он, что шведы решатся идти на Москву. Сам Петр Алексеевич внимательно осмотрел Кремлевские и Китайгородские стены: одряхлели они, поросли мхом, осыпались откосы крепостных рвов, ворота осели. Царь велел срочно подновить все. Кругом Кремля день и ночь возводили грозные земляные бастионы.

Рвы и высокие валы окружали Кремль с двух сторон, а с третьей вырыли глубокий ров и обложили его камнем. Укрепили врата под Спасской башней: обили их медью, установили щиты с решеткою.

На этот раз с большими трудностями кузнецы добрались до царских палат. В прихожей оповестили, что государь уехал по делам к Троице-Сергию и возвратится только на другой день к полудню. Кузнецы почесали затылки – делать нечего, пришлось возвращаться на постоянный двор.

Никита один отправился к заставе, а Акинфка остался побродить по Москве. Выйдя из Кремля, молодой кузнец пересек Красную площадь и вышел к торговым рядам. У него глаза разбежались: «Ох, сколько добра напояз выставлено!» В каждом ряду свой товар; лавки распахнуты – заходи, народ! Вот развешаны сукна, в лубяных коробьях – холсты, нитки. На длинных шестах подвешены кушаки, шапки, сапоги. А вот утварь церковная, парча и позу-

менты, бусы и канитель. В шубном ряду выставлены расшитые шубы да охабни. Тут и обшивка для сарафанов и боярских кафтанов. Ко всему присматривался, приценивался Акинфка; все надо знать. Потолкавшись в торговых рядах, он прошел в Кузнецкую слободу, к Неглинной речке. Многие десятки бревенчатых кузниц тянулись в ряд, по улице разносился веселый перезвон наковален. У кузниц валялось ободье, стояли рыдваны, – знать, для починки приволокли. Черномазые кузнецы возились у кузниц. Все было такое знакомое и близкое для Акинфия. У одной из кузниц стояла толпа преображенцев.

К столбу привязаны два добрых скакуна, и кузнецы ладили коням подковы; народ любопытствовал. Подошел и Акинфка, загляделся на Преображенские мундиры, потом заметил работу кузнеца и не утерпел:

– Разве то работенка? Коня нетто так надо ковать? И то, разве ж это подкова?

Упругим шагом он подошел к мастеру и вырвал из его рук подкову. Кузнец осерчал:

– Ты кто и по какому делу? Шатучий! Гей, солдаты!

Преображенцы обступили Акинфку, тульский кузнец не растерялся, повернулся к ним лицом, держа в руках неуклюжую подковку:

– Гляди, братцы, вот работенка!

Он понатужился, развел широкие плечи, и на глазах солдат подкова хрястнула и развалилась пополам. Преображенцы ахнули:

– Вот так медвежатник!

Акинфка раздвинул народ и прошел в кузню; в ней пылало разом три горна. Перемазанные в саже, в рваных рубахах и в прожженных кожаных передниках, кузнецы потели в натужной работе. К Акинфке подошел угрюмый бородач с косматыми бровями. Они, как густой мох, свисали с надбровниц; черные глазки сверкали злобно, как у зверя. Он люто глянул на туляка:

– Откуда чертяка подкинул? Кто такой?

В кузню протискивались преображенцы: любо посмотреть на такого богатыря. Впереди всех выставил широкую грудь ладно сложенный преображенец. Он поощрительно улыбался Акинфке.

Туляк скинул кафтан, засучил рукава и подошел к наковальне:

– Давай ручник... Опосля узнаешь, кто такой. Слышь, что ли?

Преображенцы зашумели.

Акинфка крикнул:

– Конь – жар-птица! Люб мне, дай-кось слажу ему наилучшую подкову. Сносу не будет ей.

Хозяин кузни побагровел – по его лицу отсветом заметалось пламя горнов. Статный преображенец весело блеснул живыми глазами и поддержал Акинфку:

– Не перечь, хозяин. Давай, что требует парень, а не то кузню по бревнышку раскатаем.

Бородач недружелюбно поглядел на туляка:

– Железо спортит...

Преображенец шевельнул пушистыми усами, голубые глаза его смеялись:

– Ежели спортит – мы ему морду намоем...

Солдаты дружно захохотали. Акинфке подали кусок железной пластины и ручник. К наковальне подошел молотобоец. Туляк сунул в раскаленный горн пластину. Преображенцы с нетерпением выжидали. Бойкий с голубыми глазами, поощряя, подмаргивал Акинфке: «Не сдай, друг!»

Молодой кузнец выхватил клещами из горна добела накалившую пластину и бросил ее на наковальню. Веселый перезвон раздался в кузнице. У преображенцев повеселели лица: поняли они, что кует опытный кузнец. Со всей кузницы сбегались мастера: «Какой дьявол там тешится?»

Акинка быстро сковал подковы; от бадейки, где они стыли, шел парок. Туляк вышел из кузни, живо и легко, как играя, подковал резвого коня. И скакун, чувствуя сильную руку, поддался – проржал покорно и тихо.

– Вот оно как надо! – Акинка снегом умыл руки, забежал в кузню, надел кафтан.

– Молодчага! – закричали преображенцы. – Идем с нами до царева кружала.

– Пошто не выпить, – откликнулся Акинка. – Я всегда готов, братцы.

Тут к туляку тяжелой походкой подошел хозяин; он глянул медвежьими мохнатыми глазами, буркнул:

– Кузнец добрый. Как звать-то?

Акинка шагнул к горнам; там стоял толстый железный прут, – им ворошили уголь в горне, шуровали в печке. Туляк хватился за него и мигом погнул.

– Вот те на памятку: первый, чтобы помнил, что ковать коней надо добро. – Акинка связал железный узелок; хозяин изумленно раскрыл рот. У пучеглазого преображенца озорно заблестели глаза.

– Дабы лаской прохожих людей привечал – вот те второй узелок. – Не натужась, Акинка ловко перекрутил железо.

– Ух ты! – Лицо хозяина кривилось непривычной улыбкой. Кузнец не дал опомниться:

– А вот те третий, – завязал он еще один железный узелок, – чтобы помнил. Ковал у тебя тульский кузнец, Акинфий Никитов Антуфьев. Вот оно что! Да закрой хлебало, не то ворона влетит...

Туляк бросил узловатый жезл к наковальне и крикнул:

– Айда, ребята, в кружало царское! Всех за свой кошт угощаю...

Преображенцы шумной ватагой повалили за Акинфкой. Пучеглазый подошел к Акинфке, схватил его за руки. Глянув друг другу в глаза, оба дружно обнялись и расцеловались.

– Ну, брат, спасибо за коня. Случись, не забуду твоей услуги.

– Видать, коней крепко любишь? – полюбопытствовал Акинка.

– Люблю, – сознался преображенец, легко взлетел на коня и махнул треуголкой. – Прощай, друг!

Он поскакал по дороге к заставе.

К Акинфке прижался плечом детина в косую сажень, усы, как у запечного таракана; солдат повел ими и, горячо дыша, спросил:

– А знаешь, кто это был?

– Известно кто, – уверенно откликнулся Акинка. – Преображенец.

– Да то не все. – Солдат прокашлялся. – То был царский денщик. Чуешь? Сашка Меншиков.

– Ну! – Теперь и Акинка разинул рот. – Эх, тетеря ты! Што ж ты мне ране не сказал? Нужный человек он мне!.. Ну да ничо, еще свидимся. Веди в кружало!

Акинка с преображенцами повернул к царевым кабакам.

4

На Балчуге, в царевом кабаке, шумно, сумеречно. Сам кабак на острог похож: просторная закопченная изба огорожена дубовым тыном. К избе прилажена клеть с приклетом, под ними погреб. На дворе у дубовой колоды цепь с ошейниками: на нее сажали буйных питухов, пока не очухаются от блажного морока. В кабаке на почерневшей стене висел сальный светец; от людского дыхания колыхалось пламя. Справа в углу широкая печь с черным зевом, у печки стоят рогачи; над челом сушатся прокисшие портянки. На полке расставлена питейная посуда:

ендова, осьмуха, полуосьмуха, для мелкой продажи – крюки и мелкие чарки, повешенные по краям ендовы. За прилавком – целовальник.

Батага преображенцев ввалилась в кабак. В тесноте пьяно галдели посадские людишки, нищелюбы, мастеровые, а то просто бродяги. Завидев Преображенские кафтаны, в кружале притихли. Усатый преображенец стукнул кулаком – дрогнул дубовый стол.

– Водки!

Целовальник молча переглянулся с подручным; тот наклонился под стойку и выволок прохладный бочоночек. Кабатчик стал цедить в ендову чистую водку. Питухи завистливо вздыхали. Еще бы! Ведали они, что вор и скареда целовальник отпускает им водку, разбавленную водой, а то известно и, что еще хуже, может, приправленную сандалом...

Акинфка скинул кафтан, одернул рубаху, баранью шапку долой:

– Гуляй, ребята!

Преображенцы хлестали водку, как воду. Многие вытащили из карманов роги, пили табак⁸. По кружалу пополз сизый едучий дым. Однако Акинфка не терял рассудка, пил мало, больше других раззадоривал, сам прислушивался, что кричат пьяные преображенцы да питухи. Выглядывал кузнец потребного человека. Усатый преображенец пил угрюмо и жаловался:

– Я, брат, один, как ворон на перепутье. Всю родню порастерял. Кои были, по расколу сбегли, а я остался. Не люблю кержацкого бога я: тяжел он и больно беспощаден, а сам небось череп, и душа у него – уголь... Слышь-ко, а сбегли они на Каменный Пояс, там, сказывают, раскольничьи скиты, а еще, бают, руды там... Слышал, что царские бирючи кличут...

Акинфка жадно схватил преображенца за руку:

– Отколь знаешь?

Преображенец обсосал кончики рыжих усов, от хмельного у него порозовели скулы.

– Все знаю. – Солдат прищурил зеленый кошачий глаз. – Сам провожал, береженья ради от лиходеёв, дьяка Рудного приказу на те места. Приволье!

У Акинфки пальцы на ногах свело судорогой, горло передохло. Затаив волнение, кузнец спросил:

– Брешешь ты, что руды там?

– Я, брат, не пустобрех, а солдат. Там край привольный, горы да лес. Железо под ногами. Пьем, што ли!

Солдат, посапывая, пил много. Выпив кружку, обсосав усы, сказал,

– Меня зовут Изотом. Изот Бирюк, – запомни, может, когда сгожусь. Я, брат, ни крови, ни черта не боюсь. В Преображенские пошел, – сбежал от боярина.

Акинфий очарованно глядел на тронутое оспой лицо преображенца. Кругом галдели охмелевшие. Целовальник зорко посматривал за народом да время от времени выходил из-за прилавка и оправлял светец; по задымленным стенам колебались уродливые тени. Слегка покачиваясь, кузнец вышел из избы. Двор был окутан тьмою, в черном небе рассыпались крупные звезды. Из-за дубового тына с Москвы-реки набежал ветерок. Посредине двора темнело что-то. Акинфка подошел, вгляделся. На конском помете лежал, посапывая, пьяный ярыжка. На поясе болтались медная резная чернильница и пук очиненных гусиных перьев. В рот питуху вложен был кусок дерева, а завязано это клепало тряпкой на затылке. Ярыжка спал на стуже, лицо у него посинело; ветер шебаршил его бороденку.

Акинфку осенило: вот кто напишет челобитную царю о рудах. Чем черт не шутит!

– Эй, хожалый, вставай! – Кузнец ткнул ярыжку сапогом в бок.

Питух замычал спросонья. Акинфка сгреб его за шиворот, поставил на ноги, – ярыжка покачивался.

⁸ Пить ртом табак – курить. (Уложение царя Алексея Михайловича.)

– Стой, приказная крыса. – Акинфка взял пьяницу за грудки и потрянул его. – Дай от кляпа опростаю...

Он освободил ярыжке рот.

– Ты кто?

– Не вишь, что ли?; – скрипучим голосом закуражился ярыжка. – Писчик-повытчик, приказна строка. На кого поносную клязузу писать хошь? – Пьянчуга потянул курносый носом, бороденка у него дрыгала, от стужи зуб на зуб не попадал.

– Идем, што ли, в избу? – Акинфка потащил ярыжку в кабак.

Целовальник недружелюбно покосился на обоих. Питухи закричали:

– Кобылка очухался...

Кузнец подвел ярыжку к стойке:

– Наливай чарку поболе.

Питух опростал ее, благодетельное тепло пошло по жилам; он крикнул.

– Ну, благодарствую. Чего ж писать? – поглядел он с готовностью на кузнеца. – А ты, божья рожа, – ярыжка нисколько не обижался на целовальника за вбитый в рот деревянный кляп, – отведи нам камору да тащи штоф да огуречного рассолу – голова больно трещит.

Усатый преображенец Бирюк сидел за дубовым столом каменным идолом; хмель не брал его.

– Ты умно затеял, – одобрил он Акинфку. – Пиши челобитную, – непременно выйдет. По рукам твоим вижу, жилистый ты, только тебе и хапать земное богатство. Ставь еще штоф!

В тесной горнице в светце трещало сало. Ярыжка, высунув язык, выводил усердно:

«Державнейший царь, государь милостивейший...»

Акинфка привалился грудью к столу, глядел на бумагу, сопел:

– А ты, ярыга, пиши царю: сколь его государевым велением запрет положен рубить на уголь лес, пожалованный нам в Малиновой засеке, оттого не выходит продолжать литье пушек и снарядов в Туле, посему бьем челом о дозволении добывать руду на Каменном Поясу, на заводе Невьянском. А условия таки...

Кузнец хитро сощурил глаз и стал излагать условия. Ярыжка опорожнил стопку, крутнул головой и захихикал:

– Ну и хватка у тебя, молодец! По нонешним годам далеко пойдешь, ежели ноги тебе загода не переломают. Ась?.. Пишу, пишу...

Ярыжка склонился над челобитной, перо закрипело.

Ночь была темная, ветреная: где-то залаляли цепные псы. Караульщики глухо постукивали в била. В слюдяных и брюшинных, из рыбьего пузыря, окошках давно погасли огни. Пропели петухи. В горницу ввалился Бирюк:

– Уходим, помни – в случае чего, зови...

Заскрипели ворота, хлопали дверьми, из кружала с гомоном уходили пьяные преображенцы...

Утром Акинфка вернулся на постоянный двор. Батяка встретил хмуро:

– Где был?

Сын положил перед отцом челобитную. Никита оглядел бумагу, пощупал.

– Так, – выдохнул он; на крутом лбу собрались морщинки. – Так, дело хорошее. Одначе ты, сучий сын, без мово спросу... Всю ночку думку я держал – заворовал ты. Хотел идти в Разбойный приказ... Счастье твое, что дело обладил, а то быть тебе битому!

– Прости, батюшка, так довелось, а упустить удачу пожалел! – поклонился отцу Акинфий.

В окна заполз синий рассвет. На улице скрипели возы; на дворе под поветью бранились мужики. Никита взглянул на отблески зари и заторопился:

– Ну, живей, надо собираться к царю!

Глава четвертая

1

Царь Петр понимал: нужно добыть выход к морю; только тогда Московское государство из полуазиатской державы превратится в могущественную и несокрушимую.

Три дороги лежали к морям, каждую из них преграждал сильный по тому времени противник. Дорогу к Балтийскому преграждала могущественная Швеция. Пользуясь нашествием иноземцев на Русь и временным ее ослаблением, шведы захватили искони русские земли, прилегающие к Балтике и невиским берегам. Дед Петра – царь Михаил – вынужден был уступить по Столбовскому договору древние русские города: Иван-город, Ямы, Копорье, Орешек с приневским краем, где испокон веков жили русские люди и приверженные к Руси племена – чужд и карелы. Швеция зорко стерегла путь к Балтийскому морю, доступ к Черному закрыли турки, только и был выход к жаркому Каспию да на севере к Студеному морю. В устье Волги стояла Астрахань, а на севере – Архангельск, но сюда лишь изредка заходили иноземные суда; при страшном бездорожье доставка товаров в Россию была очень трудна и непомерно дорога. Царь Петр решил отвоевать доступ к Балтийскому морю.

Подошел 1700 год. Государь ввел ряд неслыханных на Руси новшеств: приказано было в знак нового столетия перейти на иное летосчисление и вести его не от библейского сотворения мира, как прежде, а от Рождества Христова, и самый новый год считать не с первого сентября, а с первого января. Встреча Нового года была отмечена фейерверком и пушечной стрельбой. На Москве во дворах приказов, на воинских плацах и при купеческих хоромах палили из пушчонок и мелкого оружия, а по ночам целую неделю пускали ракеты, жгли смоляные бочки, костры, расставляли на окнах горящие плошки...

Начатый столь знаменательно 1700 год оказался, однако, прискорбным.

В этом году Россия в союзе с Данией и Польшей начала войну со Швецией. Союзники думали объединенными силами быстро покончить с врагом, но не так-то вышло. Шведский король Карл XII внезапно напал на Данию, в несколько дней с армией добрался до Копенгагена и принудил датского короля подписать позорный для него мир. Из Дании Карл XII быстро перебросил войска в Ливонию, где русские к тому времени осаждали Нарву.

Глубокой осенью, по непролазной грязи, под непрерывным докучливым дождем, теряя обозы, коней, измученные походом русские войска подошли к древнему городку, обнесенному крепкими каменными стенами и опоясанному валами. Дул пронизывающий ветер, серые тучи моросили косым дождем; по дорогам над падалью с криком кружилось воронье. По утрам с речной низины ползли густые холодные туманы. Тридцатитысячное русское войско дугой охватило Нарву и стало окапываться. Из крепости по русскому лагерю часто палили из пушек.

Русские установили орудия и после долгих приготовлений открыли огонь. Однако пушки оказались негодными, и к тому же в армии не было опытных артиллеристов. Стены Нарвы остались нетронутыми.

Царь поселился в рыбацкой хижине и лично наблюдал за осадой. Каждое утро он на сивой кобыле объезжал редуты. Плащ под беспрестанным дождем промокал насквозь, с треуголки ручьями стекала вода; Петр уныло и подолгу смотрел на серые, убегающие вдаль холмы, на заплывшие грязью дороги. Всюду, куда ни падал взор государя, за полевыми укреплениями торчали в сером небе поднятые вверх оглобли телег, увязших по ступицу в тягучей грязи. По обочинам дорог валялись разбитые бочки из-под вонючей солонины и рыбы, обломки изуродованных колес, брошенные передки, изодранные кули, а по канавам и оврагам разлагались сваленные туда туши павших коней. Ветерок доносил тошнотворный запах. Петр Алексеевич

зло поводил кошачьими усами. По жидкому месиву дорог и бесчисленных объездов в лагерь нестройными толпами подходили отставшие ратники.

Недовольный царь возвращался в хижину, где подолгу сидел у камелька и задумчиво курил трубку. Обветренное лицо его было угрюмо. И было отчего кручиниться: давно в походных магазинах кончились и солонина, и рыба, и толокно. Солдаты перебивались одними заплесневелыми сухарями, а подвоз из-за осенней распутицы прекратился.

Прошел второй месяц в ожидании падения Нарвы.

В ночь с 17 на 18 ноября пришла потрясающая новость: к Нарве через двадцать четыре часа прибудет с войском шведский король. В эту самую ночь Петр спешно покинул свой лагерь, поручив командование русскими войсками герцогу де Круи.

В мутном холодном рассвете 19 ноября перед русским лагерем неожиданно появились шведы. Раскинутые на огромном пространстве русские войска, голодные, продрогшие, плохо организованные, были застигнуты врасплох,

Шведы стремительно ворвались в лагерь, – все смешалось. Конница Шереметева, вместо того чтобы ударить в тыл неприятелю, бросилась удирать вплавь через Нарву. Охваченная паникой пехота ринулась на мост – мост рухнул...

Дул пронзительный сиверко, слепил колким снегом глаза. По застывающей реке плыли трупы... Подмерзшими дорогами убегали одиночные беглецы и конники, но их настигали леденящий холод и голод...

Только преображенцы да семеновцы твердо встретили противника, но одни они не в силах были обороняться: их наполовину перебили шведы...

В снежный буран глухой ночью Петр примчался в Новгород. Спустя несколько часов вестовой Ягужинский привез ему ужасную весть о разгроме армии...

В тесной, жарко натопленной горнице царь метался, как зверь. Высокий, ссутулившийся, в заштопанных чулках и грубых башмаках, он топал по комнате, заволакивая ее клубами табачного дыма...

К утру царь овладел собою. После страшного урока он понял, насколько силен враг и как не подготовлена русская армия к войне. Противоречивые, то тревожные, то решительные мысли обуревали царя. Надо увеличить армию, обучить ее, снабдить оружием. Сломить ленивую неповоротливость воевод. Возможно, враг теперь же двинется на Новгород, а он не укреплен. Что делать? «Бороться! – решил Петр. – Бороться до победного конца!»

Он сместил воеводу, велел немедленно ставить заплоты, копать рвы. Разбитому голодному войску навстречу выслал обоз с провиантом.

После поражения под Нарвой у Петра осталось еще 23 000 войска: корпус Шереметева и дивизия Репнина. Надо было действовать. И государь не дремал: он впервые ввел рекрутские наборы, собрал войско и в короткое время по-новому обучил его ратному делу.

Царь был быстр в решениях, жесток и настойчив. Артиллерию потеряли под Нарвой, металла не хватало, запасы свейского железа иссякли, – Петр велел снимать с церкви колокола, благо в них звучала хорошая медь, и лить пушки. Псковских и новгородских монахов он велел гнать и потреблять на фортификационные работы.

Царь Петр поджидал шведов из Польши, метался по трактам, проселкам, из города в город: готовил страну к обороне. Ладили земляные форты под Новгородом, возводили валы под Псковом, не щадя при этом ни строений, ни усадеб. Так, государь приказал на крутобережье реки Псковы, напротив Гремячей башни, засыпать землей церковь: землекопы в пять дней наметали Лапину горку, еще далее насыпали второй форт – Петрову горку. Опоясывался древний Псков земляными валами.

Больше всего тревожила царя нехватка ружей, пушек, ядер. Заводы были мелкие, не хватало искусных ружейных мастеров, не находилось тороватых и цепких людей, способных раз-

воротить горы, добыть руду, лить пушки и ядра. Ох, и круто было! А время не ждало, шло. Чего доброго, вот-вот король Карл с войсками нагрянет...

2

Никите Антуфьеву везло: к полдню от Троицы вернулся царь и, узнав, что его поджидает ружейник из Тулы, велел без проволоочки позвать его. Петр находился за ранним обедом; Антуфьевых ввели в столовую палату. За царским столом сидело много преображенцев, неподалеку от государя, положив костистое лицо на руку, угрюмо поглядывал Ромодановский – голова Преображенского приказа. Кузнецу стало страшновато, под сердцем лег холодок. Акинка, как драчливый петух, бойко поглядывал то на Петра, то на высокого кудрявого преображенца, того самого, чьему коню ладил подковы.

«Ишь, сокол, куда залетел, – восхищался Акинка, – и царю на ухо чегой-то шепчет, – поди, запанибрата с ним...»

Царь сидел одетый в зеленый кафтан с небольшими красными отворотами, на ногах зеленые чулки и старые, изношенные башмаки. Рядом на лавке валялась черная португеза. Он жадно ел, широко расставив угловатые локти; изрядно проголодался в дороге; усы его при жевании топорщились. Завидя тульского кузнеца с сыном, Петр повел круглыми навывкате глазами и неуклюже кивнул головой. Это означало: садись. Кузнецы смутились: одеты были они в простые кожаны, в дегтярные козловые сапоги, кругом же царя – сподвижники в мундирах преображенцев, в расшитых камзолах и в навитых париках, тут же три боярина уселись в разубранных позументами и канителью шубах; на их мясистых лицах блестел пот. Длинный сутулый царь вытянул ноги, недружелюбно поглядел на боярские бороды и снова обратился к Никите:

– Садись!

Оно, правда, неловко садиться рядом с государем, да что поделаешь – царская воля хуже неволи, – пришлось сесть. Никита украдкой покосился на сына: «Сиди да помалкивай, слушай, что старшие говорят».

Царь устал, но был весел; он выпрямился и налил чару:

– Ой, Демидыч, ко времени на Москву пожаловал. Побили нас свеи, изрядно оконфузили: пушки под Нарвой порастеряли, вот вояки.

Петр засмеялся – сверкнули белые острые зубы. Хлопнул кузнеца по плечу:

– Дураков, когда учат, бьют. Битье впрок идет: научимся сдачи давать. – Царь толкнул Акинку в бок.

За столом стоял гул, все держали себя прилично и каждый по своему нраву. Одни бояре дулись, как индюки. Государь смолк, сцепил большие руки, положил на стол, помолчал и сказал деловым тоном Никите:

– Демидыч, пушки надо лить. Колокола с церковей я велел поснимать: медь будет.

Кузнец провел корявой ладонью по черной бороде, наморщил высокий лоб: прикидывал что-то в уме.

– Того маловато будет, Петр Ляксеич, – степенно вставил кузнец. – Надо горы рыть да руду плавить.

Царь разжал руки, поглядел на Никиту:

– Верно, надо руду рыть...

– Опять же, Петр Ляксеич, – кузнец потупил глаза, – как ныне и пушки лить? На нашем тульском заводе льем мы для тебя, великого государя, всякие воинские припасы, а ныне по именному твоему царскому указу около Тулы леса на уголь и ни на какие дела рубить не велено...

Петр молча слушал; достал из кармана глиняную короткую трубку, из-за обшлага – кисет, набил носогрепку кнастером и сладко затянулся горьковатым дымком. Кузнец продолжал:

– Теперь из-за угля в железных плавках и во всяких припасах чинится остановка... Великий государь, отпусти нас в Сибирь, на Верхотурские железные заводы, пушки да воинские припасы лить. Я чаю, война со свеями затяжная будет, а обереженья ради пушек да припасов тех ой как много надо.

Царь вытянул изо рта трубку, засопел носом. Напротив за столом сидел в пышном парике и в малиновом камзоле Шафиров. За день до того у царя с Шафировым шла беседа о казенных железоделательных заводах. До Каменного Пояса не скоро рукой достанешь – далеко; много трудностей в правлении сибирскими заводами. Нерадением, многими сварами и крамолами приставников горному делу причинялся немалый вред. Заводами сибирскими ведали воеводы беспечно и несмысленно и оттого вводили государство в немалые убытки; из-за больших потерь и хищений приставников заводам грозило совершенное разорение.

Петр через стол кивнул Шафирову:

– Слышал, Павлович, куда наш туляк гнет?

Шафиров приветливо оглядел тульских кузнецов, ответил царю:

– Гоже, но надо, государь, подумать.

Петр задумчиво постучал тугими ногтями по столу.

– Что ж, Демидыч, заходи ко мне вечером, потолкуем; дело большое и мозгов требует немалых.

– Мы, Петр Ляксеич, ужотка челобитную припасли на Невьянский заводик, – не стерпел Акинфка. Батка Никита вздрогнул, потемнел. Худощавый, с приятными чертами лица Алексашка Меншиков наклонился к уху царя, шепнул ему что-то, и оба засмеялись...

Вечером Никита снова пожаловал к царю. Петр ждал в опочивальне: готовился на покой. Отвалился в кресле; за окном была мартовская тьма. Алексашка, высокий и гибкий, сидел перед царем на корточках, стаскивая сапоги. А Петр Алексеевич, раскинув длинные ноги, спокойно сосал глиняную трубочку. Рядом на круглом столе валялись шахматы, картузы табаку, стояло блюдо с засахаренными лимонами. Огромная кафельная печь пылала жаром.

Никита несмело остановился у порога.

– Ну, пришел. Я уж подумал и решил...

У Никиты екнуло сердце: «Что-то решил царь?»

Петр, босой, прошелся по комнате. Алексашка поставил царские сапоги в угол и доброжелательно ткнул кузнеца в плечо:

– Радуйся, медвежатник, царь заводы дает...

Петр круто повернулся к Никите. Кузнец стоял не шелохнувшись, не знал, верить или не верить. Царь взял его за плечи, тряхнул. Глядя в упрямые, глубоко запавшие глаза кузнеца, государь сказал:

– Отдам я тебе, Демидыч, завод на Нейве-реке да земли рудные округ. Отливай ты поспешно пушки да мортиры, делай фузеи, шпаги, сабли, тесаки, копыя... Заводишко тот оплатишь в государеву казну в пять лет воинскими припасами да по ценам, кои я укажу...

– Государь, – начал Никита, и руки его задрожали.

Петр продолжал:

– Отдаю завод тебе потому, что знаю: твердый ты человек, крепок на руку и ловок; не ускользнет от тебя дело.

– Медвежатник, – сверкнул из угла веселыми глазами Меншиков. – Но, по очам вижу, хапун здоровущий.

Длинные волосы на голове у царя висели лохмами, он почесал ногу об ногу, насупил брови:

– Ты, Демидыч, гляди у меня. Людишек не забижать, казну не обманывать. Заворуешься – быть на дыбе, хребет сломаю...

– Доволен будешь, государь. Оно верно, карман я свой стерегу, но и то понимаю: отечество оборонять надо, а без воинских припасов где тут от свеев убережешься.

На Спасской башне проиграли куранты; Петр сладко зевнул, протянул руку:

– Где челобитная? Давай, што ли... Дён через трое в Приказ рудных дел наведайся...

– Понял? – Алексашка посмотрел на кузнеца. – Ну а теперь иди. Тебе, мин герр, на покой пора... Дел у нас не оберись... Ну, иди, иди, кузнец, все! – Он вытолкнул туляка за дверь.

Никита надел на сильно полысевший череп лисий треух, с минуту постоял, прислушался. Царь о чем-то говорил с Меншиковым, но разобрать нельзя было.

Кузнец, не чуя под собою ног, заторопился на постоянный двор поделиться радостью с Акинфкой.

3

Ярыжка Кобылка, кабацкий человечиска без роду без племени был проныра. Разнюхал ярыжка, где тульские кузнецы на постое стояли, – как из-под земли вырос перед ними. Никита сердито глянул на курносого, худобородого ярыжку: «Чего только, кошкодав, под ногами вертится?»

Ярыжка не смутился, снял трепаную шапчонку, – в дырках торчала пакля, – поклонился кузнецу:

– Торопись, хозяин, весть хорошую принес тебе. Коли пойдешь со мной, доведу до Рудного приказа; там тебе царская грамота есть.

Подлинно, – отколь только пронюхал ярыжка, – в Приказе рудных дел поджидали тульского кузнеца. Приказ помещался за Кремлевской стеной, изба была брусная, в слюдяные оконца шел тусклый, серый свет. Стены приказа, засаленные спинами просителей, хранили на себе следы чернильных пятен и пестрели непристойными рисунками и надписями. В углах из-за позолоченных окладов глядели строгие лики угодников; слабое пламя лампы еле колебалось перед ними.

Остроглазые писчики хитро оглядели челобитчиков.

Стольник вручил Никите царскую грамоту. В ней – на то обратил внимание тульский кузнец – вместо прежнего Антуфьева именовался он Демидовым. Жаловал царь Демидова Верхотурскими железными заводами на реке Нейве со всеми строениями, с заготовленной рудой, углем, дровами, мастеровыми и работными людьми. Разрешалось туляку искать руду и разрабатывать ее и в других местах Каменного Пояса. А в тех местах, в которых Демидов сыщет руду, никто уж брать ее не мог. Позволено царем Никите ставить на Нейве новые заводы, а также на других реках, и на них с этого времени запрещалось кому бы то ни было строить мельницы. Для заводской работы дозволялось покупать людей и свозить на Урал. Для рубки леса, возки руды и выжигания угля Демидов мог верстать за плату верхотурских крестьян. А плата была установлена заранее: четыре алтына за сажень дров. Если та оплата крестьянам покажется низкой, то в грамоте строго оговаривалось: «...а буде мужики начнут противиться и покажут в том свое упрямство, то их к сечке и возке дров принудить, чтобы тех заводов не остановить».

Чтобы людишки не ленились, Демидову разрешалось по своему усмотрению, без суда наказывать нерадивых за лень и провинности. Воеводе же строго наказывалось не вмешиваться в заводские дела Демидова.

Заводчику также дозволялось покупать людей и отводить им потребные земли. Для пользы дела прирезались к заводу казенные лесные дачи на тридцать верст вокруг Невьянска, а в версте по указу значилась тысяча сажен. Никита Демидов за то должен был отливать для казны пушки и мортиры, делать фузеи, сабли, тесаки, палаши, копья, латы и шишаки. Сверх того предписано было ему делать прутковое железо и проволоку и вообще «искать всякому

литому и кованому железу умножения, чтобы во всякой нужде на потребу нашему великому Московскому государству всякого железа наделать и без постороннего свейского железа обойтись было можно, и стараться, чтобы русские люди тем мастерством были изучены, дабы то дело в Московском государстве было прочно». Никита Демидов заторопился в обратный путь. Привезенные из Тулы фузеи сдали в Пушкарский приказ. Фузеи на поверке оказались добрыми, без изъянов, и приказный дьяк похвалил Никиту за сноровку.

Стояли последние недели Великого поста, с гор тронулись первые ручьи; на косогорах появились первые проталины, и земля на них дымилась испариной. Шумели и торопились вешние воды; поспешили тульские кузнецы домой. В Туле поджидал казенный заказ на двадцать тысяч фузей, дело разрасталось.

Ярыжка Кобылка упросил Никиту взять его с собой. Крепкий туляк посмотрел на тщедушного человека, отмахнулся:

– Поди, ни едино цареву кружало не пропустишь, пригубляешь до умопомрачения.

Кобылка смело выдержал хмурый демидовский взгляд:

– Верно, пригубляю и во хмелю буен, но разуму не теряю, писать борзо горазд; и то рассуди, хозяин: дела у тебя пойдут большие, народищу тьма занадобится; когда залучать людшек будешь, никто лучше меня кабальных не учинит. Вот и кумекай тут! И опять же, хозяин, не забудь то: коли человек пьян да умен – два угодя в нем.

Никита прикинул в уме; подлинно, ярыжка – пьянчуга, но плутовская рожа да умная речь кузнецу по душе пришлись.

– Ладно, пес с тобой, садись в сани, отвезу в Тулу, но на жалованье не рассчитывай, а сыт будешь...

– Жадный ты, хозяин, – почесал затылок ярыжка, – да идти мне некуда. Ладно, и на том спасибо.

Молва о царской милости к Демидовым опередила кузнецов; туляки шапки ломали перед ними. Дьяк Утенков повесил нос, – он у него алел клюквой; с досады дьяк зачастил заглядывать в сулеи да в штофы. Эх, не знал дьяк, где найдешь, где потеряешь! Кабы знал, где упадешь, – подостлал бы соломку! Никита Демидов силу свою почуял, дьяка на завод не пускал, да и дьяк стал его побаиваться.

По приезде собрал Никита в горницу всю семью: жену да трех сыновей – старшего Акинфку, Григория да худущего и желчного Никиту. За работой не заметил батька, как молодая поросль поднялась. Только сейчас и разглядел. Никита-сын за последние два годочка, вытянулся, был желтолиц, словно в желтухе обретался, даже белки глаз желтые; горбонос. Несмотря на рост в косую сажень, он все еще бегал по Кузнечной слободе, ловил собак да кошек и мучил, находя утеху в своем жестокосердии. В кузнице он измывался над кузнецами, заушничал, и потому демидовские работные люди не любили его и при случае делали ему пакости. Средний сын Григорий, тихий, молчаливый, ко всему относился равнодушно. Сыновья с отцом встали в ряд, лица их построжали. В углу перед иконами горели лампы, лысый череп Никиты поблескивал. Он разгреб пятерней лохматую бороду:

– Ну, ребята, дело большое подошло – молись...

Он первый положил «начал», за ним бухались в поклонах жена и сыны. Молились долго, горячо.

Кобылка приоткрыл дверь в горницу, просунул мочальную бороденку:

«Поди ж, молится, аспид, как бы народ получше ограбить...»

Сквозняк из двери заколебал пламя лампад. Никита оглянулся, на высоком лбу зарябили морщины. Ярыжка торопливо прикрыл дверь, скрылся...

Отмолившись до ломоты в костях, все уселись за стол. Никита положил на столешник большие натруженные руки.

– Думаю я, мать, – строго сказал Демидов, – ехать на Каменный Пояс доверенному нашему да Акинке. Завод тот на Нейфе срочно принять да к делу приступить... Ехать Акинке без бабы. Дунька тут гожа.

Сыны молчали. Стояла тишина, слышно было, как потрескивало пламя лампад.

Глава пятая

1

Весна приспела бурная: ручьи стали глубокими реками, калюжины – озерами. Шумела вешняя вода; перелетные птицы, журавли и гуси, крикливыми косяками стремились на север; оживал лес – по жилам потянулись сладкие соки. Шалая вода посрывала на путях-дорогах мосты, порвала гати, затопила низины.

Через вешние топи, по болотам, пробирались демидовские приказчики по обедневшим серпуховским и кашинским господским усадьбам, скупали и свозили в Тулу крепостных. Подбирали приказчики народ крепкий, к кузнечному и литейному делу привычный; разлучали их с семьей. Чтобы в дороге не сбежали, не заворовали, ковали народ в цепи, на беспокойных колодки или рогатки надевали. Отощавший, рваный народ гнали, как скотину, по грязным трактам и запуткам. По барским поместьям женский стон стоял: провожали родных.

Каждый день ходил Акинка в губную избу. Писчики отбирали сильных, рослых работников среди татей, беглых и лихих людей.

На больших дорогах подбирали Демидов гулящих, сманивал раскольников.

В Туле за дубовым тыном, за крепкими запорами, под охраной сторожей, – у каждого сторожа по пистолету, – томился народ в чаянии своей судьбы.

Несмотря на строгости, народ каждый день убежал; беглецов ловили, били батогами и надевали колодки. Пища выдавалась скудная – пустые щи или тертая редька да ломоть затхлого хлеба. Никита в свободную минуту забегал взглянуть на свою работную силу. Народ жаловался Демидову:

– Что ж это ты, хозяин, голодом нас задумал уморить? Псы у тебя лучше жрут, чем мы.

Никита привычно гладил бороду, изгибал дугой густые брови:

– Так то псы, они свою работенку несут, а вы без дела пока тыкаетесь. Вот по воде сплывете на Каменный Пояс – другая жизнь пойдет.

Выглядел хозяин сыто, молодцевато и самонадеянно. От горести и тягот обозленные крестьяне разорвали бы в куски Демидова, да поди сунься: рядом наглые приказчики с батогами да два клыкастых кобеля-волкодава.

Акинка с вершниками сбежал в Серпухов, – там на пристани ладили струги, конопатили их пенькой, смолили, готовились в дальнюю водную дорогу. На лицо Акинфки лег плотный вешний загар, легкий жирок рассосало, он стал суше и жилистей. Мотался молодой хозяин на карем иноходце по лесным дачам, где работные выжигали уголь, на рудники ездил – подгонял народ. Тульский завод разрастался, галичские плотники рубили смоляные пристройки. Изредка верхом на коне Акинку сопровождала крепкая загорелая женка. Ехала она по-казацки, часто с веселой песней. Акинка любовался могучим телом жены: силу уважал он. Ночью женка упрашивала его: «Возьми меня на Каменный Пояс; стоскуюсь я». Акинка за хлопотами и тревогами уставал за день, ласки его оскудели, стали коротки и сухи. Держа на уме другое, он отвечал женке:

– Куда сейчас тебя свезешь? Там горы да чащобы, и угла нет. Отстроюсь, запыхают домны – стребую тебя.

– А ежели это год, а то два пройдет? – кручинилась женка.

– Может, и три пролетит, – спокойно потягивался Акинка.

Дунька, лежа в постели, загорелась, приподнялась, по подушке разметались густые косы; заглядывая в серые глаза мужа, горячо дыша, она с дрожью спросила:

– А ежели я с тоски полюблю кого, что тогда? Смотри, Акинка!

Кузнец спокойно и холодно пригрозил:

– Ежели то случится, на цепь прикую. Помни!

Дунька потянулась вся, хрустнули кости.

– Коли полюбишь всласть, и железа не страшны. Чуешь?..

Разве переспоришь эту чертову бабу? Акинфка отвернулся. Он был спокоен: в Туле оставались отец, мать, они-то не дадут бабе шалить.

Подошла святая неделя, сборы закончились. Ехал с Акинфкой на Каменный Пояс приказчик, да посылал Никита для литья пушек лучшего своего тульского мастера. Для возведения второй домны и пушечной вертельни ехал доменщик – легкий, веселый старик. Из Москвы в Серпухов по царскому указу пригнали десятка три московских мастеровых. Демидов поручил Акинфке взять их с собой.

На святой неделе пришел к Демидову только что выпущенный из долговой ямы разорившийся купец Мосолов – кряжистый человек с плутоватыми глазами. Он низко поклонился Никите и, заискивая перед ним, попросил:

– Пошли меня с Акинфием Никитичем на Каменный Пояс. Ей-ей, сгложусь. Какая моя жизнь стала на Туле? В семь лет перебедовал семьдесят семь бед. И то живем – покашливаем, живем – похрамываем. С кашлем вприкуску, с перхотой впритруску...

Знал Никита, что за этими купеческими прибаутками скрывается хитрость. «Хапуга, – мысленно оценил он купца, – да человек строгий, с башкой и спуска не даст».

При этом Демидову лестно было заполучить купца в приказчики.

– Ладно, хоть и накладно самому будет, да что поделаешь со старой дружбой, – охотно согласился на просьбу Демидов.

2

На Егория вешнего, когда выгнали в поле скотину, к дубовому заводскому острожку Демидова съехались подводы. Дороги и поля подсохли, реки текли полноводно; наступили погожие дни. На Оке-реке раскачивались смолистые, из пахучего теса струги. Работный народ последний день томился за дубовым тыном. Грузный Мосолов расхаживал по баракам, сбивал людишек в артели и ставил над ними старост. Голос у Мосолова криклив, руки тяжелые – не подвертывайся. Поутру на Серпухов потянулись обозы. За ними шли в лаптях ободранные мужики, худые, лохматые. Скрипели телеги, перебрехивалось собачье, на семейных возках кричали дети. Меж возов ездили приказчики, батогами подгоняли отсталых. Бабы пели тоскливые песни. Жгло полуденное солнце.

Акинфка на день задержался в Туле: думал нагнать работные ватаги под Серпуховом. День выпал праздничный, на поемных лугах у Тулицы бабы и девки хороводы водили, исстари так повелось. Мужики по лугам шатались, боролись, песни пели, в городки играли. Демидовские кузнецы в тот день не работали, затеял с ними Акинфка кулачный бой. Кряжистые бородатые раскольники из посада шли стеной на чумазах жилистых ковалей. Бились молча, крепко. Над ватагами стоял стон. Акинфка сбросил дорогой кафтан, малиновый колпак, кинулся в самую кипень. Его изрядно колотили, из глаз кузнеца искры сыпались, земля кругом шла: но он, наклонив бычью, крепкую голову, шел неустрашимо вперед, круша тяжелыми кулаками противника.

На горе стоял Никита Демидов, с ним – приказчики. Отец, как стервятник добычу, стерег сына. После ловких и крепких ударов Акинфки батька крякал, утирал пот с лица. На лугу валялись поверженные. Глядя на работу сына, Никита не стерпел, похвастался:

– Вот оно что значит демидовское семя. Гляди-ко!

Посадские кержаки дрогнули и побежали. Акинфка настигал и колотил уходивших.

И тут на дороге неожиданно-негаданно вырос парень с дорожной котомкой. Босой, пыльный. Глаза пронзительные, плечи широкие, лицо тронулось золотистым пушком. Акинка орлом налетел на кряжистого странника.

– Ты кто?

Парень улыбнулся легко и просто:

– Дорожный человек.

Акинка склонил лобастую голову, начал задирать:

– Звать как?

– Сенька Сокол.

– Ишь ты, – Сокол? А ну, держись!

Кузнец стиснул кулаки и кинулся на противника. Парень ловко увернулся, сбросил котомку, глаза его налились кровью.

– Пошто ты? – И пошел на Акинку. Не успел Акинка опомниться, как парень крепко двинул его кулаком в бок. – Пошто ты? – спрашивал парень и бил Акинку. Кузнец лишь поворачивался да охал...

На горе стоял батька.

– Так его! Ловко, эх... Правей, под жабры. Ох, в сусала дурака, – нетерпеливо топал Никита и залюбовался парнем. – И отколь только этот богатырь взялся?

Парень ловко подхватил Акинку под пояс и положил на лопатки.

– Ты пошто? – спросил парень.

Акинка засмеялся без злобы, искренне:

– Дурак, кладет, а сам спрашивает: пошто? У, пусти...

Парень опустил руки, моргал глазами. Кузнец поднялся.

– Ну, спасибо, друже, за науку! Впервые меня так угостили! Айда ко мне на гостыбище!

Прохожего проводили в избу, дали обмыться. Никита по-хозяйски оглядывал парня:

– Отколь бредешь, куда?

По волосам, остриженным по-кержацки, догадывался Никита, что дорожный человек раскольник. Был он высок, строен, легок в движениях, в широких плечах да руках чулась сила; по душе Сокол пришелся Демидову. Прохожего человека усадили за стол, накормили, напоили. За угощением Акинка крикнул охмелевшему парню:

– Целуй женку! Будь братом!

– Ой, что ты! – зарделся Сенька.

Дунька повернулась боком, сметила: синие глаза гостя полны светлой радости. Не знала она, злиться или радоваться случаю.

– Целуй... Аль брезгуешь?

Никита покосился на сына, но делать нечего. Гость встал, подошел к молодой хозяйке и опустил голову в нерешительности.

– Что ж ты! – вскинула глаза Дунька и подставила сочные губы. – Раз хозяин велит, гость покориться должен...

Акинка услышал в голосе женки озорство, но тряхнул головой и подтолкнул парня:

– Ну...

Сенька Сокол трижды поцеловал хозяйку. На вид поцелуи казались постными, но в последний раз взволновалась Дунька, словно молнией обожгло ей кровь. «Неужели?» – спросила себя и тут же, отогнав догадку, озорно сказала:

– Варнак, хороших баб толком целовать не умеешь! Поглядим, как-то в работе будешь. – Она вышла из горницы.

– Ты, душа-человек, пей, – хлопнул Никита гостя по плечу. – Пей, дух из тебя вон! Никуда ты не пойдешь больше – работы и у нас край непочатый, а руки у тебя крепкие.

– Эту пестрядину да рвань брось, – Акинка рванул гостя за портки, – мы тебя добро оденем. Знай работай только!

От сытой пищи и от вина гость охмелел. Сулея на столе качалась, огни в лампадах расплылись; гость тряхнул головой, но пьяный морок не отходил. Парень облокотился о дубовый стол, положил курчавую голову на широкую ладонь и, раскачиваясь, запел лихую песню. Голос его был легкий и ладный, за душу брал. Дунька в стряпной посуду мыла, шелохнулась от песни; и опять по телу пробежал огонь... «Пригож, и певун притом. Ух, кручина моя», – перевела дух молодая женка.

Сенька не заметил, как сбоку подсел юркий человечешка со слезившимися глазами. Волосы его, густо смазанные квасом, блестели; у человечешки личико с кулак, хитрое, за ухом очиненное гусиное перо. Откуда только и чернильница медная на столе взялась...

– Я, брат, ярыжка, кличут меня Кобылкой, – давай чокнемся да выпьем. – Он протянул чарку. Чокнулись, выпили. Кобылка взял из миски хрусткий огурчик, откусил.

– Гляди, до чего ты по нутру пришелся нам, не отпустим тебя, да и только. А для крепости службы хозяину грамотку напишем, так... Ты слушай, а я настрочу...

Ярыжка извлек бумажный лист, выдернул из-за уха гусиное перо, обмакнул и стал писать:

«Быть по сей записи и впредь за хозяином своим во рабочих крепку, жить, где мой хозяин Никита Демидов укажет, с того участка никуда не сойти, жить на заводе вечно и никуда не сбежать».

Глава шестая

1

В ту пору, когда Акинфий плыл с работными людьми по Каме, из дикой степи в Тулу пришла весна. Расцвели розовым цветом яблони, загудели пчелы, ветер приносил из садов томящие, сладкие запахи. Буйно прошумела первая гроза, отгремел гром, по оврагам с гомоном стекали обильные воды, хорошо пахло тополем. Из-за омытых садов вечерами вставал ущербленный месяц, и тогда все – городище, сады, поля – одевалось зеленоватой дымкой. В чаще черемухи сладко пел соловей.

Никита, высокий, чернобровый, выходил на крыльцо и, зорко оглядывая весеннюю благодать, радовался:

– Ин, какая плодоносная весна ноне идет. Земля и бабы богато рожать будут!

Из земли обильно лезли злаки. Глядя на их буйный разгул, кузнец ощущал свою душевную и телесную мощь. Дикие и дремучие были окружающие Тулу леса, бурливы реки, и в сердце Никиты поднималось молодое и тревожное. Разглядывая широкую спину снохи, он думал:

«Напрасно Акинфка не взял бабу с собой. Весна-то, она, брат, эге-ге! Яр-хмель!»

Кузнец подолгу ходил по полям, тянуло к себе извечное, мужицкое, и, надышавшись всласть весенним запахом, шел в кузню и мимоходом брался за молот. И тогда под молотом звонко гудела наковальня и огненным ураганом сыпались искры...

В эти дни по согретому солнцем пыльному тракту вместе с южными ветрами в Тулу пришла бравая румяная монашка. Во взгляде чернобровой девки было много лукавства. Ходила она по дворам и собирала на построение Божьего храма.

Монашка долго стояла в дверях кузницы – дивилась работе кузнецов. Сенька Сокол – высокий, плечистый, с золотистой бородкой – бил молотом крепко и лихо пел песни. Монашка брякнула медной кружкой для сбора милостыни, поклонилась, певучим голосом попросила:

– Милостивцы, подайте на построение храма.

Сокол вскинул быстрые глаза и опустил молот. Монашка потупилась. «Ай да красавка!» – ахнул про себя молотобоец. Старый коваль дед Поруха, хромоногий, с приплюснутым носом, шагнул к монашке, взмахнул черными от сажи руками.

– Кш... кш... Кто ты и отколь мы деньги тебе возьмем? – Он загляделся на монашку. – Эй, молодка, иди в наш монастырь, у нас много холостых...

Монашка смиренно перенесла обиду. Сеньку охватило непонятное томление; он не мог оторвать глаз от черноглазой побирушки. Дед Поруха сметил это и пошутил над парнем: «Кот Евстафий покался, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит».

Сокол зло бросил молот наземь.

– Что к прохожему человеку пристал? – сказал он сердито, шагнул вперед и, вынув из кармана портов алтын, подал монашке.

Монашка протянула руку, щеки зарделись. И тут взгляды их встретились. На сердце парня стало сладко и тоскливо. У монашки задрожали руки, когда брала алтын.

Сборщица ушла, но весь день Сеньке мерещился ее взгляд; чтобы забыться, он нажимал на работу, звонко пело железо под его тяжелым молотом. В горнах плясало синеватое пламя; раздувая сыромятные мехи, дед Поруха думал:

«Ишь, растревожила монашка парня. В такие годы кровь неожиданно закипает...»

Монашка прошла в демидовские хоромы и там на кухне столкнулась с молодой хозяйкой. Дунька в цветном сарафанчике, лицо потное, проворно шаркала в печке ухватами – мелькали только локти молодайки. Крепка и румяна Дунька; монашка загляделась на нее.

Женка поставила кочергу в угол:

– Ты што, явленная?

Монашка учтиво поклонилась:

– На построение Божьего храма...

Молодайка зорко оглядела монашку с головы до пят, обрадовалась:

– Эх и здоровущая девка ты! Только и работать такой! Оставайся у нас, полы в чуланах вымоешь, – на построение и без тебя соберут.

Чернорясница молчала, на сытых щеках играл густой румянец. Взглянув на ее мохнатые ресницы, Дунька взяла ее за руку:

– Пойдем, покормлю...

Разостлала на столе скатерку, принесла две большие деревянные миски да ложки. Налила горячих щей с бараниной и сама уселась за столешницу. Обе крепкие, здоровые, навалившись на стол, с усердием уписывали щи. Лица обеих блестели от пота; молча переглядывались: радовались женской красе.

«Есть добра и в работе будет добра», – прикидывала про себя Дунька.

Монашка порылась в котомке, достала дорожную сулею, лукаво улыбнулась хозяйке:

– Пригубляешь?

Дунька оглянулась, прислушалась, – на улице ребята с криком гоняли голубей. Тряхнула головой:

– Давай, што ли!

Бабы добро выпили. Хозяйка сладко прищурила пьяненькие глаза и наставляла гостью:

– В чуланах работных лавки мой, нары мой, тараканье повыгоняй...

Дунька крутнула головой, повела плечом.

– У нас ребята крепкие, могутные. Ну, заглядывайся... Окроме одного, чуешь? – Глаза молодки позеленели, брови сдвинулись. – Никто он мне, а берегу... Чуешь?

Монашка вспомнила ладного молотобойца с золотистой бородкой и тяжело вздохнула:

– Никто как Бог и Святая Богородица...

Хозяйка и монашка всхрапнули в подклети – отдышались от хмельного. Дунька первая спохватилась:

– Ахти, лихонько! Батько скоро с засеки наедет, а у меня ништо не приспело...

Разбудила монашку, свела ее в рабочие чуланы. В них было темно, душно, под столом в пыли копалась курица. Монашка подоткнула темную рясу и принялась за работу...

В хозяйской горнице на божнице стояла медная кружка сборщицы.

Уходя на работу, монашка покрестилась и поставила ее там:

– Пусть Спас и святой Микола поберегут добро божье...

Алчная Дунька, проводив гостью, вскочила на лавку и потянулась к церковной кружке.

В ней брякали одни лишь черепочки: хитрая монашка все алтыны давным-давно повытгивала...

2

Сенька Сокол пришел из кузни и увидел: вальяжная чернобровая монашка, подоткнув ряску, скребла ножом лавки, терла их мочалом. В серой полутьме поблескивали белые бабьи икры. Сокол отвернулся, но погода не стерпел, опять глянул и встретился с лукавыми глазами монашки.

Нетерпение охватило Сеньку, руки не слушались, – отяжелел весь. К чуланам шумно возвращался работный народ.

Парень сказал ей:

– Не смущай...

Монашка подоткнула выбившиеся волосы под черную скуфейку. В светце вспыхнуло пламя; Сенька не мог оторвать глаз от ее лица.

– А ты не гляди. – Монашка выпрямилась; стройна, пригожа. В глазах – жар.

– Не могу. – Он двинулся к ней, раскинул руки. Пламя в светце заколебалось и, зашипев, угасло.

– Ой, што ты! Народ идет...

– Пусть, – прохрипел Сенька и стал впотьмах ловить монашку. На пути попадались скамьи, стол, нары: все ненароком само под руку лезло.

В раскрытую дверь, ухмыляясь, глядел рогатый месяц...

После объезда рудников и углежогов возвратился Никита. Заметив чистоту в рабочих чуланах, остался недовольным:

– Ты пошто, Авдотья, разоряться удумала? Жили и без того кабальные до сих пор.

– В чистоте, батя, работается спорее, в чистоте и боров жир скорее нагуливает.

Никита помолчал, подергал бороду и ухмыльнулся:

– Пожалуй, то правда...

Работные люди поднимались на работу со вторыми кочетами, в небе еще блестел серп месяца. Того, кто опаздывал вскочить с нар, нарядчики поднимали батогами. В чуланах, где ютились кабальные, было тесно, душно от пропотевшей одежки и онуч. В пазах стен, в укромных углах бродили усатые тараканы, а в ночь на усталое тело ополчались клопы. Еще того хуже было в семейных чуланах, где в грязи копошились ребятишки, а под нарами хрюкали свиньи, – негде было скотину держать. Кормежка была скудная и постная, от нее только брюхо пучило, а силы не прибывало.

Посреди двора перед рабочими чуланами стояли козлы, к ним привязывали провинившихся, снимали портки и били лозой. При демидовской конторе содержался кат – здоровенный мужик, вид у ката разбойный, борода до глазниц, лохматая и, как медь, рыжая. Глаза – нелюдимые. На ногах палача скрипели яловые сапоги на подковах. Мордастый, хмурый, ходил он с батогами по заводскому двору и поджидал случая. Ведал он кладовыми да подвалами, где томились беглые. Всякому, кто бегал, на шею набивали рогатки и сажали на цепь.

Весна стояла солнечная, а кат ходил мрачный: жгуче ненавидел он молотобойца Сеньку Сокола. В минуты безделья кат приходил в кузницу, морщился:

– Скоро ты отпоешь свои погудки? Пошто поешь?

Медвежьи глазки ката зло глядели на Сеньку.

Сокол жил легко, беспечно; потряхнул кудрями, грохнул молотом:

– Я, добрый молодец, без коз, без овец, была бы песенка.

Кат насупился:

– Я все поджидаю, когда ты, сатана, заворуешься. Больно руки на тебя чешутся. Ух ты!

Кат широкими плечами заслонял Сеньке солнце, тот, держа в ручнике накалившую пластинку, шел на палача:

– Уходи, сожгу. Не заслоняй солнца, одно оно только и осталось у кабального.

Ворча, недовольный кат тяжелым шагом уходил из кузницы...

На хозяина Никиту кат смотрел покорно, по-песьи. Демидов вразумлял ката:

– Зри, добро зри за хозяйский хлеб. Кто из крестьянишек явится в дело непослушным и ленивцем, смотря по вине, смирай батогами, плетью и железами.

– Чую, хозяин. Сполняю то, – волосатые жилистые руки ката сжимали плетень, и Никита, поглядывая на заплечного, думал: «Силен, стервец!»

Демидов зорко доглядывал свое поместье. Все шло гладко, богато, во всем обретался свой смысл.

Акинка добрался до Каменного Пояса и написал оттуда батьке: «Край громаднющий, руд много – грабастай только. Заело безлюдье. За народом по дорогам гоняюсь. Из Устюга,

Сольвычегодска, Ветлуги да Костромы народишко бегит от хлебной скудости, от пожарного разоренья да барского гнета, а я перенимаю тех людишек и к работе ставлю. Хоромы, родитель, я возвожу знатные. Крепость...»

– Добро помышляет, того лучше старается, – хвалил батя Акинфку. – Поспешать надо. Хоромы ставит; ум хорошо, два лучше. Съездить да похозяйничать надо самому...

Задумал Демидов податься в дальнюю дорогу, на Каменный Пояс.

3

За Тулицей на посаде постукивал колотушкой ночной сторож, оглядывая амбары; кое-как в избах светились поздние огни. В садах и в хмельниках – густая тьма.

Ярыжка Кобылка, к делу не пристальный, все доглядел. Дунька покормила его, он разомлел от сытости и брякнул:

– Монашка пришлая парня мутит. Сам видел Сеньку в хмельнике. Ей-бог...

Ярыжка торопливо перекрестился на иконы:

– Вот те крест, не хмель, поганые, чать, по ночам собирают.

Дунька прикрикнула зло:

– Брешешь, варнак! Скажу кату, прикусишь язык...

Кобылка рот ладошкой прикрыл, хитрые глаза закатил под лоб:

– Я – молчок...

На молодкиной душе стало тоскливо. Помрачнела, подобралась, на лицо легли тени. В полдень сбегала в хмельник, поглядела. Верно: покрушены тычинки, примята зелень; земля притоптана...

– Добро, греховодница, так слово держишь!

Позвала Дунька крепостных ковалей, приказала им:

– В хмельник каждую ночь жалуют воры, потоптали все. Поймать надо!

– Поймаем. – Кузнецы переглянулись.

Звезды загорелись ярче, огни на посаде погасли. Заречный ветер шелестел листвою...

Кузнецы сцапали в хмельнике Сеньку и монашку. Молотобоец попросил кузнеца, чернобородого кержака:

– Меня держите, а девку отпустите.

– Не можем, – в один голос отозвались кузнецы, – кат засекет...

Сеньку Сокола закрыли на запор в предбаннике, а монашку на приговор повели. Дунька вышла с фонарем, поставила его на землю, присела на колоду и, опустив голову, долго молчала. Кузнецы крепко держали монашку. Наконец хозяйка тряхнула головой, подняла глаза на соперницу:

– Был грех?

Монашка гневно сверкнула глазами, темные волосы раскинулись по плечам, – скуфейку утеряла в хмельнике.

– Нет, – ответила твердо.

– Любишь? – спросила Дунька.

– Полюбила парня, – опустила голову монашка.

– Так, – задохнулась от ярости Дунька, глаза налились кровью. – Чужого человека в грех вводишь. Сатана! Сечь! Стрекавой⁹ сечь!

Кузнецы не шелохнулись.

– Так то ж баба...

– Сечь! – неумолимо надвинулась Дунька, – а то быть вам битыми... Кликну ката...

⁹ Стрекава – крапива.

Монашку опрокинули наземь, нарвали пук крапивы...

Ошельмованную, посеченную девку вытолкали за ворота. Она, пошатываясь, слепо пошла по слободской улице.

Сеньку два дня морили голодом. О деле дознался Никита.

– Ты пошто людей казнишь? – грозно поглядел он на сноху. – Что за управщица?

Свекровь тут же подросла:

– Отец, а ведомо тебе, что Авдотья духовное лицо стрекавой посекала?.. Поди, опять пожалуется дьяку Утенкову – беда будет.

Высокий лоб Никиты нежданно разгладился, глаза повеселели:

– Ой, любо, что посекали бездельницу. Пусть работает, а не меж дворов шатается. А Сеньку Сокола выпусти: фузеи ладим – работы много...

Вечером Дунька пришла в предбанник. Парень сидел на лавке, опустив голову. Он не встал, не поглядел на хозяйку; горячая ревность жгла молодкину кровь, а сердце тянулось к греховоднику, изголодалось оно без ласки, без теплого слова.

Дунька шагнула и остановилась перед кузнецом:

– Встань!

Сенька поднялся с лавки.

– Ты что же это, честный человек, затеял?

Сенька поднял глаза на молодку, они синели, как небо в погожий день. Руки кузнеца дрожали.

– Что ж поделать? Не удержаться было, кровь у меня горячая, любить хочется. Молодая, хозяйка.

Дунька дышала жарко, и тепло это передалось кузнецу. Он подошел ближе.

– Неужто среди своих не нашел, кого любить? – Голос молодки обмяк, в ушах стоял звон. Казалось ей, что земля в предбаннике закружилась.

– Кого же? – Они взглянули друг на друга проникновенно, долго. Сенька по глазам молодки узнал ее тайну...

Ярыжка на бане вязал веники: любил Никита пар да хлестанье мягкой березкой. Нарезанные ветки Кобылка вязал в пучки и подвешивал для сушки под крышу. Он слышал говор, припал к лазу, опустил голову в предбанник.

Дунька стояла сильная, горячая и, откинув голову, любовалась Сенькой.

Ярыжка вороватым глазом посматривал и недовольно думал:

«Что же они, окаянцы, не целуются!..»

4

За проворство в работе по настоянию Дуньки Сеньку Сокола перевели в приказчики. Покатилась жизнь проворного парня сытно и гладко. Раздобыл Сенька, песни стали звонче. Никита Демидов учил подручного:

– Всем берешь, парень. И силой и сметкой; одно худо: рука у тебя на битье легкая, крови боишься. Бить надо добро, с оттяжкой, так, чтобы шкура с тела лезла. Вот оно как! Дурость из человека вышибай – легче в работе будет.

– На человека, Демидыч, у меня рука не поднимается! – признался Сокол.

– А ты бей, лень из нерадивого работника выколачивай, – настаивал на своем Никита.

Сокол сопровождал хозяина на курени – там шел пожар угля. В лесу в землянках маялся народ. Кабальные мужики рубили лесины, складывали в кучи для жжения. Пожар угля требовал терпенья. За каждую провинность приказчики и подрядчики били работных батожем и кнутами. Раны от грязи червивели, подолгу не заживали. Наемщикам-углежогам платили

в день пять копеек, из них взимали за кормежку. Голодные, измаянные каторгой работники дерзили. Люди изнемогали, изорвались, почернели от угля.

– Ну, лешаки, как жизнь? Много угля напасли? – Никита сидел на коне крепко, прямо. Губы сжаты, лоб нахмурен.

У дымящейся кучи, крытой дерном, стояли двое; у одного железная рогатка на шее: провинился. Глядя на хозяина волком, он бойко ответил:

– Хороша тут в лесу жизнь: живем мы не скудно, покупаем хлеб попудно, душу не морим, ничего не варим.

В дерзких словах углежога звучала насмешка. Демидов накрутил на руку повод, конь перебрал копытами. Хозяин сухо спросил:

– Аль одной рогатки мало?

Второй хмуро надвинул на глаза колпак:

– Не привыкать нам, хозяин. Тот тужи, у кого ременные гужи, а у нас мочальны – мы стерпим.

На лесинах каркало воронье; лесины раскачались; ветер приносил приятный запах дымка. У пня, покрывшись рогожей, лежал больной мужик; глаза его были воспалены; он с ненавистью поглядел на заводчика. Демидов со строгим лицом проехал мимо. На просеках работники дерном обкладывали поленья: готовили к пожару.

Вороной конь хозяина осторожно обходил калужины и пни. Хозяин покрикивал:

– Работай, работай, что стали? Домницам уголь надо!

Во все трущобы, глухие уголки проникал зоркий хозяйский глаз.

Возвращались с куреней поздно. Сенька отводил хозяйского и своего коня на Тулицу, купал их и сам с яра бросался в реку.

В ночь в слюдяных окнах хозяйских хором гасли огни. Дом погружался в крепкий сон. Тогда из конюшни выходил Сенька и, как тать, пробирался к демидовским светлицам.

Никита Демидов снаряжал десять добрых кузнецов на Каменный Пояс, на Нейву-реку. В числе других для отсылки отобрал Никита и деда Поруху.

На подворье перед отъездом приехал сам хозяин и, построив мужиков в ряд, велел догола разоблачиться: нет ли у кого коросты или тайной хвори. И тут обнаружил хозяин в шапке деда Порухи письмо. В том письме ярыжка Кобылка доносил Акинфию Никитичу о беде: схлестнулась женка с приказчиком Сенькой Соколом.

Демидов прочел письмо, крепко сжал кулак. Знал: неграмотен дед Поруха, не читал он письма; сказал ему:

– Одевайся, старый филин, – гож! Едешь на Каменный Пояс...

Никита скрипнул зубами, посерел. Вскочил на коня и уехал в лесные курени. Три дня лютовал хозяин, приказчики сбились с ног. На четвертый день Демидов явился домой тихий, ласковый. Позвал в контору ярыжку Кобылку:

– Ты, мил-друг, все без дела ходишь?

Кобылка осклабился:

– Порядки блюду, хозяин.

Никита сидел за столом прямо, как шест, строг, жесткими пальцами барабанил по столешнику. По глазам и лицу не мог догадаться ярыжка, что задумал хозяин.

– За порядком есть кому блюсти, мил-друг. Надумал я тебя к делу приспособить. Собирайся завтра...

Ярыжка поежился, собрался с силами:

– Я вольный человек и в кабалу не шел.

Никита молчал, глаза потемнели. Ярыжка пытался улыбнуться, но вышло плохо.

– Нарядчик, – крикнул Никита, – завтра того холопа отвезешь на Ивановы дудки.

Ноги у ярыжки отяжелели, он прижал к груди колпак, бороденка дрыгала. Понял, что ничем не проймешь каменного сердцем Демидова.

– Ну, пшел, – ткнул нарядчик в спину ярыжку.

– Помилуй, – развел руками Кобылка; горло перехватили судороги, хотел заплакать, но слезы не шли.

Никита, не мигая, смотрел в пространство.

5

На травах сверкала густая роса; за дикой засекой порозовело небо; расходились ночные тучи. В посадке над избами – дымки; хозяйки топили печи. Лесной доглядчик Влас прибыл за ярыжкой. Делать нечего – на дворе ходил, громко зевая, кат, – надо было ехать. Ярыжка напялил на плечи плохонький зипун, встал перед образом на колени, сморкнулся. Стало жалко себя, проклятушей жизни, вспомнил бога. Жизнь в рудных ямах – знал ярыга – каторжная, никто не уходит оттуда.

Стряпуха вынесла на подносе две большие чары, поклонилась в пояс:

– Тебе и доглядчику Власу Никита Демидов на прощанье выслал, – не поминай лихом.

Лицо у стряпухи широкое, русское, согретое постельным теплом. Ярыжка и доглядчик выпили, крикнули, а баба, пригорюнившись, уголком платочка вытерла слезу: знала, не к добру Демидов выслал чару.

Ехали росистыми полями, в придорожных кустах распевала ранняя птица. Дорогу перебежал серый с подпалинами волк; зимой в засеке их бродили стаи.

– Страхолютики, всю мясоедь под займищем выли, – ткнул кнутовищем Влас.

Дорога бежала песчаная, влажная, шумели кусты. Ярыжка тоскливо думал: «Сбегу, вот как только пойдут кусты почаще!»

Влас сидел на передке телеги. Лицо избородили морщины. Борода у него с прозеленью, брови свисали мхом, – походил доглядчик на старого лешего. От пристального взгляда он вдруг обернулся к пленнику, который, наклонив голову, уныло смотрел на демидовского холопа.

«Вишь ты, чует сердце, что на гибель везу! Жалко человека: все-таки тварь живая! Но что поделаешь? Отпустить его – хозяин тогда самого меня со света сживет! Запорет!» – тяжело вздохнул Влас и закричал на ярыжку:

– Ты гляди, ершина борода, бегать не вздумай! Все равно догоню, и то всегда помни: у Демидова руки длинные, везде схватят!

Въехали в пахучий бор. Доглядчик продолжал:

– Я отвезу тебя, ершина борода, на Золотые Бугры... Местина сухая – только погосту быть. Пески! Кости ввек не сгниют...

Ярыжка сидел молча, тепло от выпитой последней чары ушло. Глаза слезились. Бор становился гуще, медные стволы уходили ввысь.

– На буграх тех золото пытался добыть Демид, да оно не далось. Отвезу тебя – ты, ершинная борода, добудешь. Угу-гу-гу!..

По лесу покатился гогот, по спине ярыжки подрал мороз. Уже не морок ли то? Он опустил голову, покорился судьбе: не сбежишь от лешего...

«Вот приеду на прииски, огляжусь, подобью людишек, тогда уйду. Сам сбегу и других сведу».

От этой мысли стало веселее.

Вверху, в боровых вершинах, гудел ветер, дороги не стало. Долго кружили без дороги по пескам и по корневищам.

На глухих полянах-островах среди самой засеки, вдоль ручья вереницей идут Золотые Бугры. В этих песчаных холмах пробовал Демидов тайно добыть золото, но ничего не вышло.

Земные пласты здесь – севун-песок. Дудки в них бить можно, когда пески бывают влажные. Сухие пески страшны, гибельны. Задень ненароком кайлом или царапни – из той борозденки просочатся песчинки, вырастет струйка, шелестит, бежит, растет она... Севун льется, как вода. И заливаает, как водополье, дудку... Сколько работных погибло в таких копанях!

Влас привез ярыгу на Золотые Бугры, привел к шахте. Шахта – просто яма.

– Вот и прибыли. Сейчас полезешь. Вот тебе кайло и бадейка... Я таскать буду...

Ярыга подошел к яме, заглянул: «Кхе, неглубоко. Суха; в такой отработаюсь, сбегу...»

– Что-то народу не видно?

– Лазь! – насупился мужик. – Лазь, а там видно будет...

На песчаных буграх стелется вереск, цветут травы; солнечно. Место приветливое, кабы не Влас – совсем было бы весело.

– А ты, ершина борода, покрестись. В яму лезешь – всяко бывает... Эх и место, эх и пески!

Влас опустил ярыжку в яму; опускаясь, Кобылка тюкал кайлом в стенки.

«Натюкаю и убегу...»

В дудке послышался тихий шорох: посочился песок быстрее и обильнее. Полил севун. Ярыжка закричал истошно, страшно.

Мужик охватил руками сосну; борода прыгала – никак не мог унять дрожи доглядчик, всего трясло.

В полдень над ямой стояло солнце, от жары млели цветы.

Лесной дозорный подошел к яме, наклонился:

– Помяни, господи, душу усопшего раба твоего. И за что только грозный Демидов казнил человека?

В яме, в песке, торчала рука; последними судорогами шевелились пальцы.

6

Сеньку позвали в правожную избу. Шел приказчик легко, весело. Перешагнул порог; в углу на скамье сидел, опустив плешивую голову, Демидов. Недобрым огнем горели его глаза. У порога стоял кат с засученными рукавами, в руках – плеть.

– Проходи! – прохрипел кат.

Сенька вышел на середину избы. Хозяин молчал, скулы обтянулись, на коленях шевелились жесткие руки. Ногти на пальцах широки и тупы.

Демидов шевельнулся, голос был скуден:

– Знаю...

Приказчик пал на колени:

– Об одном прошу: смерть пошли легкую.

Кривая усмешка поползла по лицу Демидова:

– А мне легко ли? Молись Богу!

У Сеньки дрожали руки, за спиной шумно дышал кат, переминался с ноги на ногу, скрипели его яловые сапоги. Бог не шел Сеньке на мысли...

– Клянись перед образом: о том, что было, – могила...

Демидов встал, подошел к Сеньке, схватил за кудри и пригнул к земле:

– Ложись, ворог...

Кат в куски изрубил Сенькины портки, исполосовал тело. Из носа кабального темной струйкой шла кровь. Сенька впал в беспамятство... По лицу ката ручьем лил пот, он обтер его рукавом и снова стал стегать. Распластанное тело слабо вздрагивало... Избитого Сеньку Сокола отвезли на дальнюю заимку под Серпухов. Много дней за ним ходил знахарь. Велел Демидов передать бывшему своему приказчику:

– Поедешь ты, Сокол, на Каменный Пояс. Каторжной работой будешь избывать грех. Поощаил хозяин за золотые руки... Но помни, развяжешь язык – смерть!

Знал Сокол, Демидов не шутит. Выслушал наказ, перекрестился:

– Не переступлю воли хозяина...

Последний расчет свел Демидов со снохой. Увез он Дуньку по делам на лесную заимку и там закрылся. Кругом шумел бор, за стеной хрупали овес кони. Всю дорогу Никита молчал; а в лесу и без того было невыносимо тоскливо:

– Батя, отчего ты бирюк бирюком?

Демидов широко расставил ноги, от ярости у него перекошило рот, и он стал похож на озлобленного волка.

– Блудом мой род опакостила. Жалею сына – пощажу тебя. Знают в миру трое: вы, паскудники, да я. И никто более не узнает.

Он сгреб сноху за волосы и повалил на пол. Дунька не ревела под плетью. Отходил батя честно, рьяно. Сердце молодки от боя зашлось. Однако она собрала силы, подползла к свекру, схватила руку и поцеловала:

– Спасибо, батя. Суд справедлив. Век не забуду...

– Ну, то-то. Однако и сам я виноват, что не услал тебя с Акинфкой.

Он ткнул сапогом в дверь, она заскрипела, распахнулась, и хозяин вышел из избушки.

Глава седьмая

1

По небу плыли озолоченные солнцем легкие белые облака, калужины на дорогах подсохли; по оврагам бегали зайцы, потерявшие зимний наряд; по гнездовьям хлопотали птицы. По ранним утрам над рекой дымил туман; с восходом солнца тающей лебяжьей стаей туман поднимался вверх, исчезал.

На тихих водах Оки, покачиваясь, стояли приготовленные к отплытию струги. Из Тулы в Серпухов демидовские приказчики пригнали новые партии крепостных и кабальных. По царскому указу дозволено было Никите Демидову отобрать в Кузнецкой слободе двадцать лучших кузнецов и отправить на Каменный Пояс. Кузнецы ехали с многочисленными семьями и со всем своим несложным скарбом. Кузнецов погрузили на особый струг и приставили караул. На трех других стругах ехали подневольные: народу теснилось много, было немало суеты и жалоб. Женщины роняли горькие слезы жалости, прощаясь с родным краем; мужики сдерживались. На стругах расхаживали стражники с ружьями, покрикивали на шумных. Хозяин Никита Демидов поселился на первом струге в особо срубленной будке – казеннике. На палубе разостлали ковер, поставили скамью; жилистый, могучий хозяин подолгу сидел на скамье и следил за стругами.

На восходе солнца подняли якоря и отплыли по тихой воде; Серпухов стал быстро отходить назад, таять в утреннем мареве, только зеленые маковки церквушки долго еще поблескивали на солнце. Вешняя вода спадала, из оврагов и ручьев торопились последние паводки; но река катила свои воды все еще широко и привольно. В темной глубине ее косяками шла нерестовать рыба.

Сенька Сокол лежал на соломе под палубой на струге, на котором плыл Демидов. Лежал Сенька скованный, иссеченной спиной вверх – раны только что затянулись. Силы понемногу возвращались к нему, но на душу пали тоска и ненависть. Рядом на соломе примостились два вдовых кузнеца из слободы. Оба имели свои кузницы, но Демидов за долги отобрал их, а самопальщиков закабалил.

Вверху на палубе струга раскиданы сенники, овчинные тулупы, лохмотья, пестрят бабьи сарафаны, платки, кацавейки, орут ребятишки; у демидовского казенника лают клыкастые псы; везет их хозяин на Каменный Пояс.

Один из кузнецов, бойкий, как воробей, курносый Еремка, приставал к Сеньке:

– И за что тебя, мил-друг, в железо замкнули? А ты плюнь, не тоскуй. Тоска, как ржа, душу разъедает.

Второй кузнец, широкогрудый мрачный кержак с черной курчавой бородой, гудел, как шмель:

– Чего, как липучая смола, пристал к человеку! За что да кто? Ни за что. Пошто наши кузни зорили? Ну?

Еремка крутнул русой бородашкой:

– И то верно. Зря погибаем.

– В миру так, – продолжал кержак, – одни обманывают и радуются, другие обижены.

– Нет, ты правдой живи, правдой, – не унимался Еремка.

– Пшел ты к лешему. – Кержак сплюнул. – Ты, каленый, не слушай его. И я так думал, а ин вышло как! Прямая дорога в кабалу привела. В миру ложь на ложь накладывают и живут. Вот оно как. Уйду в скиты!

Сенька присел на солому, к его потному лбу кольцами липли кудри, под глазами темнели синяки; в золотистой бороде запуталась травинка. Он запустил за пазуху руку и чесал волосатую грудь:

– Скушно...

Кержак положил мозолистую ладонь на Сенькино плечо:

– То верно: здоровому человеку в железах, как птахе в клетке, тоскливо. Пригляделся я к тебе и скажу прямо: люб! Айда, парень, со мной в скиты! Еремка отказывается.

Еремка весело прищурился:

– Бегите, а я не побегу. Я еще жизнь свою не отмерил. Вы зря затеяли: Демидов – пес, от него не скроешься... На посадке, Сокол, слышал твои песни. Спой! Ой, уж как я люблю песню-то. Спой, Сокол!

Сенька шевельнулся, зазвенел цепью:

– Отпелся.

Кержак не отставал:

– А ты подумай, вот...

Под грузными ногами заскрипела лесенка, под палубу неторопливо спускался хозяин. Кузнецы мигом вытянулись на соломе, прикрылись тулупами и захрапели. Сенька злобно поглядел на Демидова.

Хозяин кивнул головой на кузнецов:

– Дрыхнут? Ладно, пусть отсыплются, набирают силу, работа предстоит трудная. – Взор Демидова упал на цепь. – Ну как, ожил? Может, расковать?

Сенька промолчал. Хозяин недовольно ухмыльнулся в бороду:

– А пошто расковать? Резвый больно, сбегишь, а в цепях – куда!

Сокол скрипнул зубами; Демидов удивленно поднял брови:

– Зол?

– На себя зол, – блеснул глазами Сенька. – Что ни сделаю – все неудача.

– На роду, знать, тебе так написано, – строго сказал Демидов, – это Бог так меж людей долю делит: одному удаль, богатство, другому – холопствовать. Так!

– Уйди со своим Богом, – загремел цепью Сенька. – Уйди!

– Бешеный! Ну, да ничего, остудишь кровь в шахте. А ты слухай. – Демидов присел на корточки. – Плыдем на Каменный Пояс; что было в Туле – назад отошло. Могила! Понял? Руки у тебя золотые и башка светлая... что ершиться-то? Служи хозяину, яко пес, и хозяин тебя не обойдет! – Никита еще приблизился к Соколу и тихо обронил: – Возвышу над многими, если будешь служить преданно.

– Уйди, жила! Меня не купишь ни рублем, ни посулом! – Сенькин голос непокорный, смелый.

Демидов встал, крикнул:

– Так!

По крутой лесенке он медленно поднялся на палубу. Кузнецы откинули тулупы, разом поднялись и вновь вступили в спор. Разговор с Демидовым и дума о побеге взволновали Сокола; он вздыхал, глядя на цепь.

Под Каширой река разлилась шире. Издали навстречу стругам плыли высокие зубчатые стены церкви. На бугре размахивали крыльями серые ветряки. Подходили к городу; мимо пошли домишки, сады. Стали на якоря против торжища. Ерема весело выкрикнул:

– Тпру, приехали! Кашира в рогожу обшила, Тула в лапти обула. Выходи, крещеные!

Сенька еще нетвердо стоял на ногах, упросил кузнецов вывести на палубу. Со стругов любовались кузнецы веселой Каширой.

На торжище толпились голосистые бабы, веселые девки; торговцы на все лады расхваливали свой товар. Солнце грело жарко, вода шла спокойно; в тихой заводи отражались в воде

прибрежные тальники; над посадом кружили легкие голуби. По Сенькиному лицу скатилась вороватая слеза:

«Ну куда я сбегу с непокорными ногами...»

По сходне на берег степенно сошел Демидов, долго мелькали в пестрой толпе его бархатный колпак да черная борода. Хозяин приценивался к товарам. На берегу дымился костер, в подвешенном чугушке булькала вода; кругом костра сидела бурлацкая ватага и поджидала обед. На реке, против течения, на якорях стояли тупорылые барки...

Сенька не полез обратно под палубу, сидел у борта и любовался берегами. Кашира уплыла назад. Вечер был тих, дальний лес кутался туманом; по реке серебрилась узкая лунная дорожка. Сильные мужики в пестрядинных рубахах ловко правили потесью¹⁰, слаженной из доброй ели. По реке шла ночная прохлада, но с лица рулевых падал соленый пот. На соседних стругах было тихо: спали горюны и кабальные. Где-то за кладью на струге тихо и ласково напевала женщина, укачивая родимое дитя.

Под Коломной в ночь со струга сбежал кержак. Стражники слышали, как зашумела вода, стрельнули из ружей, но впустую – кержак уплыл. Еремка разбудил Сеньку, радовался от души, смеялся:

– Ловок, ирод, сбег-таки! А Демидов землю роет, залютовал.

В Коломне бросили якоря. Демидов съехал на берег. Под убегающими облаками темнели высокие древние башни. Огибая крепостные стены, серпом блестела Москва-река, и за башнями, за яром, она сливалась с Окой. Приказчики рыскали с псами по тальнику, но беглеца не сыскали. Демидов возвратился злой, привез на струг двух колодников.

Сенька Сокол повеселел, пел песни. Плыли берега, уходили назад деревни.

Солнце веселило землю, густо зеленели сочные луга. Проплыли мимо Демидова: кругом опустелые деревни – в прошлагоды в морозы вымерзли озими, крестьяне голодали. На берегу мелькнули монастыри, на горизонте долго маячили церкви; звонницы молчали: по царскому указу поснимали с них на литье пушек медные колокола. Под Муромом разбушевалась непогодь, в береговых лесах рвало с корнем деревья, по дорогам кружили пыльные столбы, а после хлынул ливень. Всю ночь земля содрогалась от грома, зеленые молнии разрывали черное небо. Утром из леса к пристаням пришел сергачский медвежатник. Медведя и мужика Демидов залучил на струг, их накормили, и медведь потешал народ. Демидов сидел на скамье, подпершись в бока, глядел на потеху. Михайло Топтыгин показывал, как ребята горох воруют, как бабы воду таскают, валялся, как пьяный. Кругом народ сгрудился, любопытствовал.

Натешившись, Демидов сергачского медвежатника спустил на берег, а медведя оставил. Мужик долго бежал вдоль берега и крепко ругался. Струги плыли быстро; медведь, прикованный к стругу, сердито ревел. Демидов залез в казенник, разложил на столе тетрадку и писал обо всем, что видел. Скучно было Демидову без работы, некуда было себя девать...

Спустя немало дней на горах встал Нижний Новгород; солнце опускалось за Кремлевские стены, казалось, за ними плыл пожар...

К Сеньке подсел Еремка, ветерок трепал его бородавку.

– Вон какая Русь великая, а горя – моря, не вылакаешь...

Сокол смотрел в синие дали: под Нижним Ока вбегала в матушку-Волгу.

У Еремки чесался неугомонный язык.

– Вон он, Нижний, сосед Москве ближний; дома каменные, а люди железные. Воды много, а почерпнуть нечего.

Струги подходили к буянам. На реке стояли расшивы, баржи, темнели плоты. Опускался тихий вечер; над горами зажглась первая звезда; по берегу бурлаки разожгли костры, грели варево. Небо раскинулось темное, глубокое. Сенька не мог успокоиться: «Что стало с Дунькой?

¹⁰ Потес – рулевое весло на струге.

Испорол, поди, черт!» Весной сердце глубже любит, и мысли Сокола не покидали подругу. Мерещилась она ему, крепкая и смелая. В лунную ночь, казалось, за стругом бежит... Тело Сокола крепчало от речных ветров, вставая на ноги; терли железа, а Демидов грозил:

– Сгниешь теперь, Соколик, из-за бабы.

Сокол смело отвечал хозяину:

– Не из-за бабы, а из-за любви. Ты, видно, не ведал того.

– Баба – она баба, дело – оно дело, – не доходила до Демидова речь Сокола. – Я женку сыну за десять рублей купил, вот те и любовь тут!

Кабальный вздохнул:

– Ну и сердце у тебя, хозяин!

– Такое уж, – согласился Демидов, – железное. Дело, брат, у меня – все. Руки у меня жадные, все зацапать хочу. Вон она, моя жизнь-дорога!..

Раз бурлаки разозлили медведя, он сорвался с цепи и кинулся на людей. Когтистой лапой зверь грабанул по лохматой голове потесного¹¹ – кожа с волосами долой, лицо залилось кровью; потесный упал. На медведя кинулись демидовские псы; одного зверь порвал, другого в реку скинул. Рыча, медведь ринулся за женщиной.

Из будки выскочил Демидов, в руках дубина, и пошел на зверя. Медведь рявкнул, занес лапы. Хозяин бестрепетно шел на зверюгу, и тот, рыча, отступил под жгучим взглядом Демидова.

Хозяин загнал медведя на казенник и посадил на цепь.

– Вот идол! – восхищались потесные. – Зверя покорил!

– Ну, что, варнаки, будете еще баловать? – Демидов утер с большого лба пот и бросил дубину под скамью.

Под вечер на струги грузили пеньковые веревки: славны посадки Нижнего доброй пенькой. В чугунах на костре работные варили окских щук и окуней. Приятно пахло дымком.

Разбитной Еремка сварил уху и заботливо угощал Сеньку:

– Ты, мил-друг, крепи тело.

Мимо стругов величаво шла Волга, по тихой воде шли круги: играла рыба. В темном небе сорвалась и черкнула золотым серпом падающая звезда. Еремка, заглядывая Сеньке в глаза, сказал задумчиво:

– Вон и звезды горят, и рыба играет, а людишки несчастливы. Зверье! Ты, мил-друг, о девке тоскуешь? Не забыть. Любовь – она крапива стрекучая...

Сенька перестал есть, положил ложку; лицо его потемнело:

– Сбегу, а Демидова зарежу!

– Господи Иисусе, воля твоя, – перекрестился Еремка. – Что ты говоришь? Ты послушай, мил-друг, что я тебе скажу, а ты на ус наматывай. Вот ты Никиту Демидова зарежешь, а на его место Акинфий...

– Этот мое счастье сгубил! – угрюмо ответил Сенька.

Еремка оглянулся:

– Наше счастье бояре да дворяне потоптали. Какое счастье кабальному? Надо, мил-друг, всем скопом за счастье подняться. Одному человеку свое счастье не уберечь. Ты, мил-друг, гляди глубже...

Кузнец внимательно посмотрел на Сеньку и замолчал; рядом прошел стражник с плетью. На берегу гасли костры. Озорной малец вывернул на угли котелок воды, над костром поднялся белый пар. В речной воде отсвечивали темно-синее небо да звезды. На заокской стороне перебрехивались псы да ночные сторожа колотили в колотушки...

¹¹ Потесный – рулевой.

2

От Нижнего Новгорода демидовские струги плыли по Волге-реке. Вода шла бойко, над коренной поднялась высоко; струги бежали быстро. По берегу из Понизовья с бечевой, с натужной песней шли бурлаки. Приказчики у рыбаков добывали Демидову стерлядь, варили уху. Хозяин обеспокоенно расхаживал по стругам; на них появились хворые люди, исходили животами. Приказчики кормили людей порченой рыбой. Вечером, когда приставали струги, на берег сносили мертвых, хоронили наскоро, ставили рубленый крест.

Мимо прошли волжские городки – Васильсурск, Козьмодемьянск, – далеко синели главки их церквей. На высоких буграх промелькнули Чебоксары; по берегу стояли палатки, горели костры, раскинулся воинский лагерь. Народ кругом – чуваша, марийцы, татары – волновался; для умирения царь Петр на берегах Волги держал ратных людей.

Под Казанью на берег вышли татарки, глаза у них печальны, сами стройны. Еремка вздохнул и сказал Сеньке:

– Хороши девки, да нехристи.

Сенька стоял прямо и легко; ноги отошли, обрели силу. Над Казанкой-рекой на крутых ярах высился кремль с резными башнями. На холмах – серые домики посадов, вокруг деревянные стены. На посадском торжище бойко шла торговля. Смышленные татары звонко зазывали, предлагая товар. В приволжских окраинах народ голодал, и видел Сенька, как на струг взобрался чуваш с девчонкой. Была она хороша, ясноглаза, с льняными волосами и тонким станом, а лица у отца и девчушки землистые: голод не тетка. Демидов в голубой рубаше сидел на скамье и разглядывал девчонку. Чуваш упал перед ним на колени:

– Купи, бачка, хороший девка...

Девчонка дичилась, глаза уставила в землю, на ее ногах – тяжелые лапти. Демидов посмотрел на ребенка, нахмурился:

– Что я с нею делать буду? Ковать да копать руду ей не под силу, а когда из нее работница выйдет – жди! Не надо мне робят. Уходи отсюда...

Чуваш долго стоял на берегу, надеясь, что Демидов раздумает. Ясноглазая девочка подбирала на берегу камешки, играла.

Кабальных и кузнецов на берег непустили. Демидов съездил к воеводе. Казанский воевода пожаловал сам на струги и архиерея приволок. Воевода ходил в боярском кафтане – по бархату золоченая расшивка; от грузности воевода пыхтел.

Демидовские приказчики под локотки воеводу на сходнях придерживали. У архиерея лицо бабье, на рясе – серебряный крест. Постукивая по сходням посохом, архиерей взошел на струг сам.

Демидов угостил знатных казанцев стерлядью, наливками. Воевода пил молча, скоро огруз и опечалился. Архиерей после каждой чары сладко причмокивал и умильно глядел на Демидова; покачивая головой, хвалил:

– Ну и знатная у тебя наливка.

Хлебая уху, архиерей возгласил:

– Сегодня среда, день постный – стерлядь дозволяю.

Демидов вызвал Сеньку Сокола. Кабального поставили перед столом.

– Ты, ядрено-молено, кабальный, спой постную песню!

Сенька не шелохнулся, опустил руки, цепи лежали у ног.

Тряхнул кудрями:

– Я не шут, не потешный, хошь и кабальный.

Воевода рот раскрыл, жадно ловил воздух. Прохрипел:

– Демидыч, колошмать вольнодумца!

Сокол под битьем молчал, это воеводе понравилось.

Сам Демидов поднес кубок Сеньке. Не глядя на хозяина, Сенька выпил, утерся и пригрозил Демидову:

– Берегись, хозяин, сбегу – зарежу за батоги!

Демидов, не хмельной, – не пил, – сдвинул брови, пожаловался:

– Когда ж я того дьявола уломаю? Ни батоги, ни ласковое слово не помогают. Волка и то приучают...

Архиерей, опершись о посох, вздыхал:

– Ох, господи...

Опустилась прохладная ночь; на берегу шелестел листвою ветер. На струге зажгли фонарь, сработанный из бычьего пузыря. Свет был тускл, скуден. На берегу все еще сидел чуваш, и девчонка, покрытая сермяжкой, спала тут же.

Демидов под руки свел со струга воеводу и архиерея.

– Бачка, – крикнул чуваш, – бачка, купи девку...

– Отстань, пес, – выругался Демидов.

– А сколько девке годов? – приостановился воевода.

– Двенадцать, бачка. – Чуваший снял шапку и подошел к сходне.

Воевода подумал и посоветовал Никите:

– Купи, купец, девку, сгодится.

На берегу у погасших костров храпели бурлаки; над водой кружил ветер. Побитый, осатаневший от ненависти, Сенька лежал у борта струга и смотрел в бегучую воду: «Утопиться, что ли?»

Рядом сидел Еремка и, словно угадывая его мысль, сказал:

– Ты, мил-друг, головы не вешай. Отпороли, ништо. Оттого ярость лютеет будет. Вот оно как...

Утром на зорьке снялись с якорей и отплыли к устью Камы, где Демидов полагал отгрузку...

По берегу шли кудрявые сады, мелькнули обширные села: Нижний Услон с приветливыми рощами, с поемными лугами; между двух гор в зеленой долине лежала Танеевка. Про те горы ходили сказы о разбойничьих ватагах, которые гуляли по Волге. Величаво прошла Лысая гора: сторожит берег и клады Разина.

Волга, убегая вправо, широко разлилась, сверкала серебром, легкий туман дымился над водами; вольная река торопилась в лиловую даль. А слева надвинулись глубокие воды Камы-реки. Долго бежит Кама рядом с Волгой, не хочет слиться. Воды ее темны...

Вот и устье!

Струги стали на якоря, сгрузились. Кабальных и крестьян сбили в ватаги, назначили старост. Больных усадили на телеги.

Сенька шел пошатываясь, лицо осунулось.

Демидов усадил кузнецов на подводы и уехал вперед: торопился на Каменный Пояс.

Прощаясь, Еремка обнял Сеньку крепко:

– Ты, мил-друг, прирос к моему сердцу. Помни: в беде я первый помощник тебе... Выручу!

Пошла бесконечная сибирская дорога. Скрипели телеги, у кандалников позвякивали цепи... Люди от тоски, от тягот запели унылую песню. Позади в последний раз мелькнули и исчезли синие воды Камы.

Глава восьмая

1

Акинфий Демидов и приказчик Мосолов давно уже отправились на Каменный Пояс. Всю дорогу они поражались просторам и богатствам нового края. Путь лежал через Башкирию, в ней пошли увалы и горы; с каждым днем горы становились выше, суровее, боры и лесные чащобы – непроходимее. По сибирской дороге встречались станы кочующих башкиров. Башкиры – народ крепкий, смуглый и храбрости немалой, а живут бедно. Башкирские сельбища, которые видел Акинфий, представляли собой неутешительное зрелище: жилье убого, грязно и дымно; осенняя непогода местами разметала и разбила крыши. По пастбищам бродили табуны, и в них отгуливались хорошие кони и кобылицы. По Каме и речным рубежам, для охраны границ, стояли русские крепостцы и острожки. Пади рек перекапывались рвами и валами, под защитой укреплений селились служилые люди. В лесистых местах встретились Акинфию засеки, и опять же сторожевая линия укреплялась городками, острожками, проезжими воротами да башнями, а то просто лесными завалами. Горные заводы, построенные русскими воеводами, подступили вплотную к башкирским землям и переходили рубежи. Воеводы не стеснялись, самовольно занимали башкирские земли. По долинам Каменного Пояса распространились русские поселники, бежавшие от тяжелой опеки царских людей и помещиков на вольные земли. А земли по склонам Каменного Пояса шли черноземные, с дремучими лесами и рыбными озерами...

Демидовский обоз передвигался ходко: торопился Акинфий к жалованному заводу и землям. Жадный Мосолов разжигал Акинфия:

– Земли не огребись, народишко кругом к хозяйским рукам не прибранный. Послал вам с батей Господь Бог жатву обильную. Эх, кабы мне такие просторы, я бы заглотал все...

Бывший купец с завистью поглядел на Акинфия, тот усмехнулся и спросил:

– И не подавился бы?

– Ничего. Все прибрал бы, к таким делам я ненасытный. Да и так я прикидываю: не обидите меня с батей за мою службишку...

– Не обидим, но то знай: хапать без спросу не дам, повешу! – Лицо Акинфия было строго и жестоко.

Купец подивился в душе: «Эк, быстрый какой! Сам хапуга из молодых да ранний, а другим ни крошки». Однако лицо Мосолова расплылось в улыбку:

– Да ты что, Акинфий Никитич, напраслину на меня возводишь. Я, как пес, добро ваше оберегать буду. Увидишь сам...

Мосолов быстро и толково выполнял указы Акинфия, глядел ему в глаза. Дорога дальняя и тяжелая – кони уставали, и Мосолов менял коней у башкиров за негодную мелочь, а то просто арканил скакунов в табунах, башкирским табунщикам бил лица в кровь и грозил:

– Я человек царский, мне все можно. Другие радовались бы чести, что коней их беру, а они воюют... Ух ты!

Башкиры по улусам кляли хапуг; старая обида еще не отошла. Осторожный Акинфий предупреждал Мосолова:

– За ловкую хватку хвалю, но ты потихоньку, без шума, а то нам же пребывать в этих краях...

– Это ты верно, Акинфий Никитич, – соглашался Мосолов. – Ух и разум у тебя большущий...

На возах ехали бойкие московские мастеровые – народ разбитной, песни пели. На последней подводе сидели тульские старики: пушечный мастер и доменщик. Каждый думал свою думу. Доменщик, жилистый, с умными глазами, указывая на глухие боры и серые шиханы, восторгался:

– Ну и край! Сколь я на своем веку домниц возвел! Сколько железа из руд в них наплавили! Мастерство мое старинное и для отчизны потребное, только беда – на купца робим! Сбежал бы, кабы не любил свое дело!

Рядом с ним на подводе сидел пушкарь, легкий, веселый старик. Он радовался солнцу, птичьим голосам, лесному шуму.

– А я пушки лажу, голубушек роблю! – ласковым голосом отозвался он. – В нашем роду все пушки да ядра лили. Пушки сробить – большое дело, мил-друг! Нет больше радости, когда выйдет пряменькая, гладенькая, крепенькая! Обточишь ее, милую, и сдашь для обряженья. А когда обрядят да на поле заговорит пушечка-голубушка, душа возрадуется! Эх, мастерство, мастерство – радость одна, только оно и веселит!.. Эвон, глянь, сколь важен стал хозяин! – кивнул он в сторону молодого Демидова.

Ехал Акинфий впереди обоза на сером коне, сидел он ловко, легко. Глядя на его широкие плечи и тугую загорелую шею, доменщик сказал:

– Ишь, вылетел стервятник из гнезда родительского. Сердцем чую, высоко взлетит!..

В горах долго погасал закат, вечер стоял тихий, ясный; синели ельники; на озерах шумно хлопотали гусиные стаи...

После долгой дороги, наконец, распахнулась долина, в ней заводский пруд; поблескивая, он уводил верховьем за лесистые скалы. На берегу пруда дымила домнушка.

– Вот и Нейва-река! – Акинфий натянул поводья, и конь медленно пошел под гору; взор хозяина холоден, на переносе легли две глубокие складки. За хозяином с горы потянулся длинный обоз; все притихли, присматривались к новым местам, где приведется ладить свою жизнь. Кругом вздымались дикие горы, наступали хмурые леса. Среди них заводишко выглядел бедно: серые приземистые строения, каланча – все было убого. В этот тихий вечерний час солнце опускалось за горы, над прудом таял темный дымок домны.

Нового хозяина встретили грязные, лохматые псы. Хрипло пролаяв, они лениво отошли под навесы. Рабочие у штабелей, поснимав шапки, с любопытством глядели на приезжих. Склонив нечесанные головы, путанные бороды, они глядели угрюмо, исподлобья.

Акинфий соскочил с коня и прошел в контору. В ней за тесовым столом сидел остроглазый писчик с жидкой косицей на спине и, потягиваясь, до слез зевал.

Акинфий по-хозяйски шагнул вперед:

– Эдак от лениости скулы свернешь. Эй, малый, где управитель тут?

Канцелярист поскреб затылок:

– Я тебе не малый, а писчик. Вот кто я... Да ты, супостат, отколь взялся да что кричишь? Чего доброго, дьяка взбудишь...

Управитель Невьянского казенного завода, подьячий Деревнин, четвертый день тянул хмельное. Пьяный, опухший, он валялся за перегородкой на скамье и храпел. Акинфий шагнул вперед к столу, схватил писчика за косичку и выволок на середину горницы:

– Ты, крапивное семя, сгинь отсель. Отныне конюхом жалую, за нерадивость пороть буду. Понял?

– Ой, это как же?

– Брысь! – Демидов сжал кулак, писчику страшно стало, екнуло сердце, мигом юркнул из конторы, перекрестился:

– С нами крестная сила! Может, бес, может, оборотень. Ох ты!

На заводскую площадь стягивались подводы, и проворный Мосолов, ругаясь, выстраивал их полукружьем. Рабочие люди, побросав работы, сбегались к табору. Приезжих окружили

заводские бабы, ребята лезли с расспросами. Московские мастера раскладывали костер; площадь была обширная, строения редки и крыты дерном.

Акинфий Демидов прошел за перегородку, сволок со скамьи пьяного подъячего. Тот пучил ооловелые от хмеля глаза, отбивался.

– Разбойники! – ревел подъячий.

– Закрой хайло, очухайся, – тормозил Акинфий пьянчугу.

Подъячий понемногу пришел в себя, громко икал и плевал в бороду.

– Бороду утри! – гаркнул Акинфий. – Разговор будет о царском повелении.

Хмель разом соскочил с подъячего, он с досадой вытер рукавом бороду и устался на Акинфия:

– Ну!

– Вот те ну! – Акинфий достал из холстинки царскую грамоту о жаловании Демидовых Невьянским заводом, бережно развернул ее! – Читай!

Подъячий выпучил глаза; бороденка его прыгала, тревожили мысли: «Вот коли дознаются о заворованных деньжонках... И нанесла нелегкая...»

Акинфий по-хозяйски распоряжался:

– К завтраму приготовь сдачу; завод принимаю я. Где, как и чего, досконально выложь. Сейчас ночлег себе ищи в другой избе, тут на первое время размещусь я.

Подъячему и перечить не было времени. Акинфий прошел к порогу, с силой распахнул дверь и гаркнул на всю площадь:

– Мосолов, бабенок сыскать, полы умыть да пакость всякую отсель убрать...

Не успел подъячий обдумать обо всем, как проворный демидовский приказчик пригнал из обоза двух ходовых крепких молодок. В руках у них ведра с водой и мешковина; подолы засучены. Курносая полумойка заголосила:

– Ты, приказный, уходи, а то хлестать будем! – Молодка опрокинула ведро на пол – разлилась лужа. Подъячий, косясь на озорных женок, отступил к двери: «Ох и наваждение, Спасе...»

Молодки бросились счищать со стола и скамеек грязь, терли, мыли, по избе гул шел...

Акинфий обошел завод, по пятам его ходил приказчик Мосолов. Оглядели плотину: вода размывала насыпь, у плотины стояли низкие, закопченные сажей заводские строения. С глухим шумом двигались водяные колеса; в каменном здании постукивал обжимный молот. Вдоль пруда тянулись бревенчатые избенки с натянутыми в окна пузырями. На площади валялось и ржавело выплавленное железо: не успели по санному пути вывезти с завода. В заводских строениях все строено наспех, шатуче и уже разрушалось.

– Плохо, – пожал плечами Акинфий. – Эх, до какого разора завод довели.

На другой день Акинфий Никитич Демидов принимал завод. Хрипатый с перепою подъячий путал, хитрил, тут же вертелся быстроглазый писчик. Акинфий недовольно хмурил брови. Навалившись крепкой грудью на стол, он недоверчиво поглядывал на бумаги и цифры; подъячий водил по ним перстами и сладкоречивым голосом усыплял Акинфия. Демидов час-два терпеливо молчал, приглядывался к подъячему; тот в душе уже ликовал: «Хвала Богу, проехало». Но тут Акинфий придавил пальцы подъячего:

– Полно врать, дьяче... Металла большие недостатки насчитал я. Зоришь завод... Сегодня тебя и писчика отсылаю в Верхотурье к воеводе, – пусть разберется с вами, какой разор чинили тут, а мне некогда.

Акинфий сгреб бумаги и сунул их в ящик.

– Хватит с вами ласы точить. Сбирайтесь в дорогу!

Подъячего и писчика усадили на подводу и отослали в Верхотурье.

Мосолов подал Серка хозяину; Акинфий легко вскочил в седло, конь шатнулся под могучим телом. Акинфий объехал соседние увалы, в развалах кучами лежала наломанная руда. В горы не было колесных дорог; с вершин открывался простор, кругом шумел дремучий лес...

Возвратясь с объезда, Акинфий отобрал скорых на руку кузнецов, они сварили плотницкие топоры. Наказал хозяин рубить избы, делать заплоты; ходили рабочие после заводской работы косить в лугах сено: напасали корму для скотины. Доменный мастер возводил у плотины новую домну. Поднимался старик до восхода солнца – на пруду еще дымился туман, на поникших ветвях ивняка блестела роса – и весь день-деньской хлопотал на стройке. С лесов старику открывался пруд, лесистые горы и весь завод, кругом копошился народ; мастеру становилось весело, и он покрикивал подручным и подносчикам камня:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.